

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



Annotation

В книгу известного детского писателя, лауреата Государственной премии СССР, входят повести «Жизнь и приключения чудака», «Последний парад», «Чучело» и другие. То, что происходит с героями повестей, может быть с любым современным школьником. И все-таки они могут поучить своих сверстников вниманию к людям, к окружающему. Автор изображает подростков в таких жизненных ситуациях, когда надо принимать решение, делать выбор распознавать зло и равнодушие, то есть показывает, как ребята закаляются нравственно, учатся служить добру и справедливости.

Издается в связи с 60-летием писателя.

Для среднего возраста.

- [Владимир Карпович Железников](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)

- [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
-

Владимир Карпович Железников

Каждый мечтает о собаке

Повесть

В тот день, когда началась вся эта путаница, эта история, из-за которой я так прославился в школе, я вышел из дому позже обычного.

Все утро я «танцевал» вокруг матери, ждал, когда она — без моих вопросов скажет, где вчера пропадала допоздна, но она почему-то молчала. Раньше если она где-нибудь задерживалась, то всегда, еще стоя на пороге в пальто, начинала докладывать, почему задержалась. А вчера она промолчала и сегодня продолжала играть в молчанку.

Я выскочил из дому и понесся галопом по Арбату. Хорошо еще, что в это время на улице нет дневной толчеи и можно бежать без особых помех. И никому ты не попадешь под ноги, и никто не толкает тебя в спину, и машин мало. И даже в воздухе еще не пахнет бензином.

Наша школа находится в переулке. А сам я живу на всемирно известном московском Арбате, рядом с домом, на котором висит серая мраморная доска с указанием, что здесь в 1831 году жил Александр Сергеевич Пушкин.

Раньше я пробегал мимо этого дома в день по сто пятьдесят раз и не замечал этой знаменитой надписи. Жил целых тринадцать лет и не замечал. А тут, в конце прошлого года, к нам пришел новый учитель по литературе и спросил меня как-то, где я живу. Я ответил. А он говорит: «Знаю, это рядом с домом Пушкина». Я как дурачок переспросил: «Какого Пушкина?» Вроде бы у нас с ним общих знакомых с такой фамилией нет. «Александра Сергеевича, — говорит он. — Того самого, главного... Ты, когда сегодня пойдешь домой, сделай одолжение, подыми голову и прочитай на доме пятьдесят три надпись на мемориальной доске».

Я потом около этой доски час простоял, глазам своим не верил. И представьте, эту доску повесили еще до моего рождения. Полное отсутствие наблюдательности.

А учитель такой симпатичный оказался, Федор Федорович, мы его зовем сокращенно Эфэф, и фамилий у него смешная: Долгоносик... Сам литератор, а фамилия зоологическая. То есть сначала он мне совсем не показался, потому что у него на каждый

случай жизни припасена цитата из классической литературы, и мне это не понравилось. Что, у него своих слов нет, что ли! Но потом я разобрался, и это мне даже стало нравиться. Он как скажет какую-нибудь цитату, так и поставит точку. Коротко, и объяснять ничего не надо. И еще: когда он говорил эти цитаты, то волновался, а не просто шпарил наизусть. В общем, настоящий комик.

Сейчас все скажут, что про учителей нельзя так говорить, что они люди серьезные, а не комики. Но я говорю не в том смысле, что он смешной, какой-нибудь там хохотун вроде циркового клоуна. Наоборот, он редко смеется, хотя еще довольно молодой и не усталый, а комик в том смысле, что он какой-то необычный человек. А для меня все необычные — комики. И слова он особенные знает, и умеет слушать других, и не лезет в душу, если тебе этого не хочется. И глаза у него пристальные — разговаривая, он никогда не смотрит в сторону.

Ну, в общем, мы здорово с ним подружились, и я к нему часто забегал, в его «одиночку». Так он называет свою однокомнатную квартирку.

И в этой истории он мне здорово помог, как настоящий друг, а то после скандала с кладом меня прямо поедом ели. Проходу не давали. А он меня поддержал. Как-то толково объяснил, чего надо стесняться в жизни, а чего — нет. И я ему поверил, и это меня, можно сказать, спасло.

Собственно, все началось из-за клада.

Нет, все началось из-за Ивана Кулакова.

Нет, все началось, пожалуй, из-за матери.

А может быть, все началось из-за того, что я люблю воображать, придумывать то, чего никак не должно быть.

Я бежал до самой школы и прибежал, как всегда, ровно за пять минут до звонка.

Влетел в класс и вдруг увидел: на первой парте в моем ряду сидят сразу двое новеньких: он и она. Парень и девочка.

Парень обыкновенный, а девочка рыжая-рыжая. Волосы у нее перепутаны. Не голова, а куст смородины. Сидят и мило беседуют.

Не знаю, как кто, а я люблю, когда появляются новенькие, потому что они пришли неизвестно откуда и это интересно.

Иду прямо к своему месту, а глаза влево, влево, влево — на новичков. У меня даже от этого голова закружилась. И тут ко мне сразу подскочила Левка Попова. Я насторожился: от нее ничего хорошего не жди.

— Здравствуйте, — пропела она сладким голоском. — С чем пожаловали? — А говорит нарочно громко-громко. Совершенно ясно, что играет на новичков.

«С чем пожаловали?» — какой милый вопросик, просто оригиналка... Мы-то известно с чем пожаловали: с портфелем, в котором сложены учебники и тетради. А вы-то чего так орете? И тут я вспомнил, что в этом самом портфеле, с которым я только что пожаловал, лежит тетрадка по алгебре с нерешенной задачей...

Достал тетрадь, чтобы решить эту задачу. А Ленка не уходит, вертится и крутится возле меня.

— Хочешь, я тебе дам списать задачку? — заорала она снова на весь класс.

Рыжая оглянулась.

— Хочу, — ответил я.

Ленка бросилась к своей парте, достала тетрадь и услужливо протянула мне. Это было совершенно на нее не похоже. И тут я увидел, что она отрезала косы. Гром и молния! Еще вчера была с косами, а сегодня короткие волосы.

— Ты что это? — спросил я.

Просто так спросил, из вежливости.

— Ничего. — Притворяется, что ничего особенного не случилось, любит она из себя строить актрису.

— А где косы?

— В век атома и нейлона, — сказала Ленка, и опять громко-громко, чтобы эти новенькие обратили на нее внимание, — косы только мешают.

Конечно, мне было наплевать на ее косы. Девчонка с косами, девчонка без кос, не все ли равно, но просто неожиданно все это. Знаешь человека сто лет, как я Ленку, и вдруг он является в совершенно новом виде. Тоненькая, длинная шея, маленькие уши торчком.

— Ты их совсем остригла?

— Нет, на время, — ответила она. — Завтра приду с косами. — И засмеялась, что подловила меня.

Я видел, как эта новая улыбнулась и сказала что-то своему соседу. Видно, ей понравилась острога этой актрисули.

Все они одного поля ягоды. Рыжая оглянулась второй раз, и я на нее так посмотрел, что, думаю, у нее надолго отпала охота оглядываться. Если захочу, я умею посмотреть — заерзаешь. Хоть она и новенькая, а пускай знает свое место. А ты, Леночка, у меня еще попляшешь, мало я тебя таскал за косы, теперь потаскаю за короткие волосы.

Хотел тут же вернуть ей тетрадь с задачкой. Решил подойти, бросить тетрадь и заорать на весь класс: «Оказывается, я сделал задачку сам... — И добавить: — А без кос, между прочим, ты просто селедка...»

Я уже встал, чтобы осуществить свой план, но потом передумал. Неохота было связываться.

Тут последняя минута проскочила, точно одна секунда, и зазвенел звонок. Вошел Эфэф.

Он всегда входит стремительно, точно боится опоздать. Оглядит класс и скажет: «Не будем терять даром времени». Но сегодня у нас урок классного руководства. На этом уроке Эфэф разрешает говорить что хочешь. Можно даже шутить и нести всякую чепуховину, можно задавать любые вопросы.

Сразу за Эфэф в класс влетел Рябов. Его все зовут Курочка Ряба. Он хоть и мой сосед по парте — Эфэф почему-то посадил нас

вместе, — но люди мы разные.

— Почему ты опять опоздал? — спросил Эфэф.

— Понимаете, Федор Федорович, — сказал Рябов, — задумался и проехал одну лишнюю остановку.

Он начал притворяться, что говорит чистую правду, а на самом деле врал и кривлялся.

— Что это ты, Рябов, стал привирать, — сказал Эфэф. — Раньше я за тобой этого не замечал.

Он сделал ударение на слове «этого». Значит, кое-что другое, что ему не очень нравилось, он за ним замечал. Видно, он намекал на то, что Рябов — зубрила и остряк-подпевала. Конечно, это никому не может понравиться.

Эфэф склонился к своей старой солдатской полевой сумке, которая ему досталась в наследство от отца, и все примолкли и вытянули шеи.

И я вытянул шею: раз Эфэф полез в сумку, значит, будет дело. У него там такие вещички лежат — закачаешься. Он, например, однажды на уроке русского языка, когда всем до чертиков надоели разговоры об однородных членах предложения, вытащил из сумки какую-то тоненькую потрепанную книжонку и без всяких слов предупреждения стал ее читать.

Я до сих пор помню, как Эфэф ее читал, без выражения, тихо, однообразно, точно не читал, а рассказывал то, что видел сам. А потом, когда закончил, сказал: «Солдата, который написал эту книжку, уже нет в живых. — И в сердцах, с обидой добавил: — Рановато он умер».

Книжка пошла по рядам, и каждый ее рассматривал, а когда она дошла до меня, я открыл ее и прочел: «Эм. Казакевич. Звезда». А ниже от руки было написано: «Товарищу по землянке». И стояла подпись автора. Это отец Эфэф был товарищем по землянке. Да, настоящая это была книжка, вся правда про то, как воевали, и про то, как погибали. Может быть, кто-нибудь ее не читал, так советую прочитать.

Наконец Эфэф перестал копаться в своей исторической сумке и, к общему разочарованию, вытащил оттуда обыкновенную ученическую тетрадку в двенадцать листков.

— Вот тебе тетрадь, Рябов, — сказал он. — Будешь в нее записывать, сколько раз соврал.

Это точно, он не любил вралей. Он и другим уже давал такие тетради, но никогда потом про них не спрашивал. Дал тетрадь, и все, а дальше поступай как хочешь.

— Неплохо выпутался, — сказал Рябов, когда опустился за парту рядом со мной. — Думал, старик меня не впустит.

Я ничего ему не ответил, потому что Эфэф подошел к новеньким и поздоровался.

Новенькие встали.

— Как вас величают? — спросил Эфэф.

— Кулаковы, — сказала рыжая. — Его Иван, а меня Тоша. — Она говорила медленно и совсем не волновалась. — Мы брат и сестра.

Ох и длинный оказался этот Иван Кулаков! На голову выше своей сестры.

— Ну что ж, садитесь, Кулаковы, брат и сестра, надеюсь, мы будем с вами дружить... Брат и сестра, брат и сестра... — У него была привычка повторять то, что ему только что сказали, по нескольку раз.

Я же говорю — комик, он повторяет одни и те же слова, а сам в это время думает, вероятно, про новеньких, и они уже навсегда занимают какое-то место в его голове. Он теперь об этих Кулаковых будет думать, может быть, до самого вечера, хотя еще ничего про них не знает. Он всегда так. Он мне как-то сознался, что любит думать больше про незнакомых, чем про знакомых. Про знакомых все знаешь, а про незнакомых можешь придумать то, что тебе хочется.

Я теперь тоже часто, как он, думал про незнакомых. Раньше я всегда думал про деда, да про мать, да про свой класс, и все». А теперь я увижу какого-нибудь случайного паренька на улице, какого-нибудь симпатичного великана, вроде этого новенького, Ивана Кулакова, и целый день про него думаю и представляю, что он стал моим лучшим другом и мне все-все завидуют.

Я задумался про все это и представил себя уже лучшим другом новенького, даже не заметил, как вытащил из кармана детскую игрушку — маленькую деревянную лошадку. Вчера я случайно нашел ее в письменном столе, когда, поджидая мать, рылся в старых вещах. Люблю я рыться в старых вещах и вспоминать всякие забытые случаи из своей жизни, которые уже никогда не повторятся.

Ей было лет восемь, этой лошадке. Мне ее вырезал отец, после того как мы впервые побывали в цирке. Я до этого ни разу не видел

живой лошади, ну вот он мне ее и вырезал, чтобы я мог с ней играть в цирк и вспоминать, как мы вместе туда ходили.

А тут Рябов нагнулся и выхватил у меня игрушку.

— Отдай, — тихо сказал я.

— Не отдам, — ответил Рябов. В это время к нам подошел Эфэф, и он добавил: — Сиди и слушай Федора Федоровича.

Ах, какой он был дисциплинированный! Схватил чужую вещь и еще выставлялся.

— В чем дело? — спросил Эфэф.

— Вот, — сказал Рябов и протянул мою игрушку.

Все тут же уставились на нас: очень им было интересно посмотреть, что такое держит Эфэф в руках.

— Маленький, маленький, маленький мальчик, — сострил Рябов. — Ему в классе скучно, и он принес с собой игрушку.

Все засмеялись. И новенькие тоже повернулись в мою сторону, только они не засмеялись. На всякий случай держали нейтралитет. А все остальные смеялись. В нашем классе умеют посмеяться, даже когда не надо.

Эфэф молча отдал мне лошадку.

Он тоже не смеялся. Он не любил, когда перед ним выслуживаются, — у некоторых учителей это проходит, но не у Эфэфа.

Но тут вскочила Зинка Сулоева и сказала:

— Федор Федорович, а Лена остригла косы.

И все сразу переключились на Ленку и забыли про меня. Наконец-то она добилась своего, все-все смотрели на нее. А главное — эти Кулаковы!

— В век атома и нейлона романтические косы ни к чему, — вставил я. — Вообще голову надо развивать, а не завивать.

Я заметил, что Эфэф чуть подобрал губы, он всегда так делает, когда чем-нибудь недоволен. Потом он посмотрел на Ленку, потом перевел глаза на меня. Какие-то у него были странные глаза: они не видели меня, хотя смотрели на меня в упор.

Он сказал громко и так медленно:

*Не властны мы в самих себе
И в молодые наши леты
Даем поспешные обеты,*

Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

Странные стихи. Как это «не властны мы в самих себе...»?

На перемене ко мне подскочила Зинка и своим таинственным телепатическим голосом прошептала:

— Дай твою руку, и я догадаюсь, о чем ты сейчас думаешь, — и схватила меня за руку.

А я, точно по какому-то гипнотическому приказу, подумал об этой рыжей, об этой новенькой. А Зинка страшный человек. На вид обыкновенная толстуха, но иногда на нее находит, и она угадывает чужие мысли. Или мы в классе спрячем какой-нибудь предмет, а она находит его.

Пришлось довольно грубо вырвать у нее руку. Мне эти таинственные штучки были сейчас ни к чему.

— А я догадалась и так! — закричала Зинка.

— Ну чего ты кричишь? — сказал я тихо. — Подумаешь. — И добавил многозначительно: — Неизвестно еще, что и как...

— А мне известно, а мне известно!... — закричала снова Зинка уже совсем не телепатическим голосом, захохотала и выскочила из класса.

После уроков прибежал наш вожатый, десятиклассник Борис Капустин. Он возится с нами пятый год, еще со второго класса, и без конца таскает нас по каким-то биологическим музеям и промышленным выставкам, а один раз водил в институт. Там делали операцию собаке не хирургическим ножом, а лучом лазера. И потом целый час продержал нас на морозе, доказывая, что это была совершенно особенная операция. Луч лазера, рассекая кровеносные сосуды, закупоривает их, получается операция без крови. А когда его кто-то перебил, он огляделся и сказал, что наша компания ему надоела до макушки и что он мечтает поскорее кончить школу, чтобы избавиться от нас.

Он и правда собирался за один год два класса проскочить — не разрешили. Он в министерство гонял, там тоже оказались консерваторы. И Эфэф за него хлопотал, ничего не помогло. Ему сказали, что «закон есть закон», и точка. А то все начнут прыгать через класс, и в школах еще больше будет путаницы.

Смешно, как будто все люди одинаковые: ведь одни могут прыгать в год через два класса, а другие — за два года одного класса не могут одолеть, и им учителя с тоской тройки выставляют. Это же ни для кого не секрет.

Ну, в общем, влетел Капустин в класс, прогремел своими железными коробками, которыми он вечно набивает карманы. Он в них таскает всякую живность. И заорал:

— Братцы, выберем звеньевых. Только в современном темпе. Как говорят американцы «стресс» и «тенш», что значит «давление» и «напряжение».

Сначала образовали четыре звена. И я попал в четвертое. А потом Борис сказал:

— Всем, кто не попал в первые четыре звена, встать.

Встали: Рябов, Ленка, Зинка-телепатка и двое новеньких.

Неплохая компания подобралась...

Этот Иван Кулаков посмотрел на меня и улыбнулся. Не кому-нибудь улыбнулся, не остряку Рябову и даже не расстриге Ленке, а

мне. И я ему, конечно, улыбнулся и встал, как будто я еще не попал ни в какое звено.

— А ты чего встал? — спросил Борис.

Я промолчал. Не скажешь ведь, что, по-моему, Кулаков хороший парень и я хочу быть с ним в одном звене. Борис внимательно оглядел всех стоящих, понимающе хмыкнул — каждому человеку приятно догадаться — и сказал:

— А звеньевых выберете сами. — Он уже вскочил, чтобы уйти, он уже был на ходу, но что-то грохнуло у него в кармане, и он тут же вытащил здоровую железную коробку из-под монпансье.

Мы окружили его.

Он осторожно открыл коробку: там в горстке земли возился какой-то червяк. Довольно противно так извивался.

Ленка испуганно взвизгнула, а новенькая, эта рыжая, видно бойкая на язычок, сказала:

— Обыкновенный дождевой червяк.

— Не червяк, а лумбрикус террестрис. Интереснейшее существо: создатель чернозема.

Ну и тип этот Капустин: «Интереснейшее существо»!

— Мой папа на таких лумбрикусов рыбу ловит, — сказала новенькая и засмеялась. А смех у нее такой ехидный, и глаза тоже издевательски смеялись.

Другая бы на ее месте ни слова не произнесла, а эта даже на Бориса замахнулась. А Борис, тоже размазня, вместо того чтобы сказать ей какое-нибудь «ласковое» слово и мигом осадить — таких надо сразу осаживать, — смутился и торопливо ушел.

А она посмотрела на меня, и я на всякий случай отвернулся. Попадешь еще ей на язык, сделает из тебя посмешище на виду у всех.

Когда Борис ушел, мы сели в угол и выбрали по моему предложению звеньевым Ивана Кулакова. Выбрали единогласно, даже слишком единогласно, потому что Ленка подняла за него сразу две руки.

— Ладно, ребята, я согласен, — сказал Иван. — Только, чур, один за всех и все за одного. — Он записал в тетрадь наши фамилии и добавил: — Для начала запишем, чем занимаются наши родители. Будем по очереди ходить друг к другу, пусть они нам рассказывают про свою работу.

— Ой, как интересно! — сказала Ленка. — Это просто замечательная идея.

— Наш отец летчик-испытатель, — сказал Иван. — Он может рассказать об авиации, а мама врач.

«Ничего себе семейка», — подумал я.

— У меня отец инженер-конструктор по автомобилям, — сказала Ленка.

— Это нам пригодится, — сказал Иван и посмотрел на Ленку.

Ленка вспыхнула от радости, точно он сказал ей, что она первая красавица в мире, а Тошка довольно громко хихикнула.

— Мой отец электросварщик, — сказала Зинка. — А мама лаборантка.

— Мои предки экономисты, — сказал Рябов.

— А твои? — спросил Иван у меня.

Хорошо бы сейчас их всех сразить и сказать, что мой отец, например, космонавт, а мать хотя бы заслуженный мастер спорта.

— Мама у меня машинистка, — сказал я.

Они все как-то сразу замолчали, видно, я их разочаровал. Может быть, они меня просто пожалели: мол, у них у всех такие великие отцы и матери, а у меня мама обыкновенная машинистка. А я ненавижу, когда меня жалеют, это у меня от отца: он тоже не любил жалости.

— Она каждый день что-нибудь печатает, — сказал я. — И узнает новое.

— Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. — Это выступил Рябов.

Он посмотрел на Тошку, я заметил, что он все время сверлил ее глазами, и захохотал.

— Остроумная Курочка Ряба, — сказал я. — Снесла яичко не простое, а золотое.

— Слушай, Рябов, это неблагородно, — сказал Иван и выразительно положил Рябову руку на плечо.

— А что? — замелькал Рябов. — Я ничего плохого не думал... Просто решил пошутить... Это же всем известные стихи...

— Больше так не шути, — сказал Иван. — Хорошо?

— Хорошо. Пожалуйста, — сказал Рябов.

Мне, конечно, плевать на шуточки этого остряка, и за себя я могу сам постоять, но все-таки приятно, что этот новичок за меня заступился.

Домой мы возвращались с Иваном Кулаковым. Вблизи он был здорово похож на свою сестру: такие же блестящие глаза и густая шапка волос. Он налетел на меня, как ураган.

— Ты мне понравился, — сказал он. — И твоя лошадка мне понравилась...

Я решил, что он надо мной просто смеется, поэтому и вспомнил про лошадку. Видно, они были с сестричкой два сапога пара: любили посмеяться над другими... Надо было что-то сказать ему резкое и обидное, чтобы он не лез в чужие дела, но я не умел придумывать такие слова на ходу. Незаметно покосился на него, и удивительно: его лицо было совершенно серьезно.

— Старая игрушка, — сказал я. — Отец вырезал.

— Я так и подумал, что она дорога тебе как воспоминание, — сказал он. — Ты, видно, мечтатель?... — Он не дал мне вставить ни одного слова. Трещал, как хороший скорострельный пулемет. Бил бронебойными. Ничего себе стрелок, высший класс. — А я уже нашел свою мечту. Вот в чем наше различие, но все равно я предлагаю тебе дружбу... Согласен?

— Согласен, — сказал я.

Ох, до чего же длинный он был, его подбородок болтался где-то над моей головой. Я отодвинулся, чтобы это было не так заметно. По моему, он заметил, что я отодвинулся от него, и догадался почему.

— У тебя неплохой рост, — сказал я. — Пожалуй, возьмут в баскетбольную команду. У нас там все такие жирафы.

Он ничуть не обиделся, что я обозвал его «жирафом».

— Рост — ерунда. Самое главное — цель в жизни.

Вот это был человек! Я такого еще никогда не встречал, первый за всю мою жизнь. И мой лучший друг. Ничего себе, повезло.

— А какая у тебя цель в жизни? — спросил я.

— Я буду любить людей, буду стараться делать для них что-нибудь необыкновенное, — сказал он. — И никогда ничего не просить себе взамен. Как ты думаешь, это выполнимо?

— Не знаю, — ответил я.

Просто я не готов был к этому разговору, сам я никогда об этом не думал и не знал, что ему ответить.

— А я каждый день об этом думаю, — сказал он. — Вот только время медленно тянется. Представляешь, сейчас бы махнуть куда-нибудь на Крайний Север или на Камчатку, на передовое строительство. А нам всего тринадцать. Жди-поджидай у родителей за спиной. Надоело.

— Да, — сказал я. — Ждать не очень-то интересно.

Мне хотелось узнать что-нибудь про его жизнь: откуда он появился такой? Но неудобно было расспрашивать.

Мы остановились около замечательного нового дома в Плотниковом переулке. Это такой роскошный дом — его знает вся Москва, — широченные окна, балконы под навесами. И оказалось, что он жил в этом доме. Прямо не человек, а какой-то волшебник.

— Зайдем, — сказал он.

И я, конечно, согласился. Да и кто вообще бы на моем месте отказался от такого предложения?

Когда я вышел от Кулаковых, был уже шестой час. Самая толкучка на Арбате, потому что после работы все спешат домой. Толкаются беспощадно, а в магазинах — как в метро, когда едут на футбол. Я и на футбол не хожу поэтому, только об этом никому не говорю, а то засмеют: скажут, маленький мальчик, боится, что ему кости поломают. А мне просто не хочется толкаться. И потом, если совсем честно, то, когда я смотрю на футболистов, которые бегают по полю, я всегда думаю о своем. Никак не могу себя заставить следить за игрой.

Иду себе потихоньку, а впереди меня какая-то парочка: он и она. Смотрю в спины этой милой парочки, а сам думаю об Иване. Здорово у него все продумано, а здесь живешь без всякой цели. И вообще-то семейка: отец летчик-испытатель!

И вдруг я услышал, что женщина, которая шла впереди меня с мужчиной, засмеялась. Тут я просто остолбенел, и у меня из головы сразу все выскочило, потому что эта женщина была моей матерью.

Неизвестно, что было делать: подойти или нет. Это был первый случай в моей жизни, когда я встретил маму с мужчиной. Ничего, конечно, особенного, но все же почему-то неприятно. Может быть, потому, что они не просто шли, а гуляли? И мама мне показалась какой-то другой, необычной: даже в походке, даже в том, как она держала голову.

На всякий случай я решил отстать, и теперь они маячили немного впереди меня. Он шел внушительным, размашистым шагом, а мать сыпала рядом с ним. Она тоже маленькая, вроде меня, и худенькая. На девчонку похожа, у нее на носу веснушки. Ее на работе поэтому до сих пор зовут просто Галей, хотя ей уже тридцать три года.

Они свернули в наш двор, а я, чтобы скоротать время, пока они там будут прощаться, зашел в галантерейный магазин, что находится в бывшем пушкинском доме. Теперь я этот дом хорошо изучил: он небольшой, всего в два этажа. В правом его крыле — квартиры, в левом — трикотажный магазин величиной с небольшую комнату. Если туда заходит сразу пять человек, то повернуться нельзя.

Как-то я придумал, что именно здесь, где сейчас находится этот самый крохотный магазинчик, когда-то была комната Пушкина. И после этого я сюда стал заходить. Интересно ведь. Приду и стою. Продавщицы, их всего две, меня уже запомнили. Одна постарше, другая помоложе, у нее на голове башня из волос. Я с ними здороваюсь и даже собирался рассказать им, в каком необыкновенном месте они работают. Возможно, они об этом не знают.

Зашел, встал у окна. Почему-то, когда смотришь в окно, люди кажутся другими, чем они есть на самом деле. Иногда даже знакомых не сразу узнаешь.

Ко мне подошла одна из продавщиц, та, что помоложе, с башней на голове. Она заглянула в окно через мое плечо: мол, интересно, что я там увидел такое особенное.

— Что ты все у нас высматриваешь? — спросила она.

— Я? Ничего...

— Ходят здесь всякие, — сказала она, и все, кто был в магазине, посмотрели в нашу сторону, — а потом с прилавка пропадают вещи.

— Что вы!... — Я хотел ей объяснить, почему я к ним захожу, но тут я понял, что она просто меня обозвала вором, а я еще хотел ей про Пушкина рассказать. — Эх, вы, — сказал я и пошел к выходу.

Потом какая-то сила повернула меня обратно, и я снова подскочил к ней.

— Может быть, вы хотите заглянуть в мой портфель? Пожалуйста. — Я открыл перед ней портфель и начал тыкать им ей в лицо. — А может быть, вывернуть вам карманы?... — Я стал выворачивать перед ней карманы своих брюк и уронил на пол лошадку.

Поднял ее и вышел. Дотащился до нашего двора, вошел в арку и выглянул: они все еще стояли у подъезда и разговаривали. Холодно было стоять: в этой арке вечно сквозняк и пахнет подвалом, а они там беседовали, руками размахивали, смеялись, видно, ударились в воспоминания.

Но вот он наконец оторвался от моей матери. Она скрылась в подъезде, а он стал быстро приближаться ко мне. Прошел мимо все тем же размашистым шагом, что-то напевая себе под нос. Певец какой, распелся! Не люблю я таких, очень он гладкий и аккуратный и шел по двору без всякого любопытства. И мне, между прочим, чуть по

носу рукой не съездил — хорошо, я успел отскочить, — и даже не посмотрел в мою сторону.

Я вошел во двор и посмотрел на окна нашей квартиры. Окна как окна. Ничего на них не написано. Отец просил меня: «Береги мать». А как это делать? Неизвестно. Она и вчера, видно, из-за него поздно вернулась домой, а мне ничего не рассказала, хотя мы всегда все выкладываем друг другу. Она любила мне рассказывать и про сослуживцев, и даже про их семьи. Я никогда никого не видел из ее сослуживцев, но всех представлял. А тут она, значит, что-то скрывала от меня.

Двор мне показался коротким: не успел опомниться — и уже стоял перед нашим подъездом. Ноги мои приросли к месту. Может быть, к тому самому месту, где только что стояла мать, где три года назад последний раз прошел отец.

И вдруг я почувствовал плечо отца, меня даже качнуло от того, как он резко и неожиданно прижался ко мне плечом. А теперь его рука обняла меня. Так хорошо, когда на плече его рука!

Он часто ко мне приходит. Первое время это было всегда ночью. Встанет, бывало, в самом тесном углу моей комнаты и стоит. Ему там неудобно, потому что он большой и толстый, а он стоит. Сначала я старался от него отделаться, начинал вспоминать всякие дневные истории, или содержание каких-нибудь книг, или просто пел про себя. Но это не помогало, и тогда я стал с ним разговаривать, вот как сейчас. Одевал его в военные костюмы, нравился он мне в военном, и развешивал на его груди ордена. Он всю войну был на фронте, и у него было много орденов. Его два ордена Отечественной войны и польский «Крест храбрых» до сих пор хранятся у нас, а два ордена Боевого Красного Знамени пришлось отдать в военкомат. Такой порядок. А жалко, мне нравились эти ордена.

Он умер три года назад, и все, может быть, думали, что я его забыл, а он, наоборот, за эти три года крепко засел в моей памяти, и не проходило дня, чтобы я его не вспомнил. Вот и сейчас он шел рядом со мной, и его рука приятно грела мне плечо. Какая у него тяжелая рука — это оттого, что он вырос в семье лесорубов, а на войне был артиллеристом. На таких работах рукам некогда отдыхать.

Пойти посидеть с ним в сквере, где играют малыши. Они там здорово пищат, но мне это не мешает думать.

Мать сидела около окна и читала книгу. Можно было подумать, что она так сидела уже два часа, а можно было подумать, что она схватилась за книгу, когда услышала, что я открываю дверь.

— Ты почему так поздно? — спросила она, а сама трогала пальцами одной руки кончики пальцев на другой. Вечно у нее болят кончики пальцев от клавиш машинки.

Я уже хотел ей ответить, что был у Кулаковых, но тут она выскочила вперед и сказала:

— Я волновалась.

Ловко придумала, сама только что пришла и обо мне-то, может быть, не помнила, а говорит: «Я волновалась». Повернулся и пошел в ванную. Что-то ведь надо было делать. Пришел в ванную и начал мыть руки, три раза намылил, все старался придумать, как же мне поступить.

Ужас до чего я нерешительный и жалостливый. Я поэтому всегда во все игры проигрываю, в шахматы, например, потому что мне жалко противника.

Я не слышал из-за шума воды, как она вошла в ванную. Она выросла передо мной неожиданно и так неожиданно заглянула мне в глаза, что поняла, о чем я думал. Вот бывает так, другой человек посмотрит тебе в глаза и все прочтет в них, и она прочитала все по моим глазам и догадалась, что я ее видел с провожатым, но сделала вид, что ничего не поняла.

— Ты голодный? — спросила она, точно это было сейчас самое главное.

— Нет, — ответил я и намылил руки в десятый раз.

Она все еще стояла за моей спиной.

— Мне повезло, получила большую работу на дом. Диссертацию одного молодого ученого. Заработаю деньги и куплю тебе новую лыжную куртку. А то скоро зима.

Видели мы этого молодого ученого. Руки у меня окоченели от воды, и я стал их вытирать. По-моему, было что-то унижительное в

том, что она будет печатать его работу, а потом купит мне на эти деньги куртку.

— У меня и старая куртка не такая уж плохая, — сказал я.

Она помолчала, потом прижала кончики пальцев к вискам. Это значит, у нее заболела голова. Я увидел, как на левом виске, под ее тоненькими прозрачными пальцами нетерпеливо билась жилка. У нее даже веснушки на носу побелели.

Мы вернулись в комнату и сели по разным углам. Мы, даже когда ссоримся, все равно сидим в одной комнате. Мама мне говорила, что когда она меня обидит, то моя боль тут же передается ей.

— Гвоздик! — окликнула она меня. Она всегда придумывает мне разные имена, когда у нее хорошее настроение или когда она, наперекор всему, хочет его сделать хорошим. — Гвоздик, может быть, ты все же расскажешь мне, где ты был и почему ты не хочешь есть?

А вдруг он вправду только отдал ей перепечатать свою диссертацию?

— У Кулаковых я был. Это новенькие из нашего класса. Брат и сестра. Иван и Тошка. Они живут в Плотниковом переулке, в новом доме...

Она слушала меня и чему-то улыбалась. Не понял я, мне она улыбалась или нет.

— Мы там под руководством Ирины Тимофеевны, это их мать, жарили мясо. Здорово получилось. А отец у них летчик-испытатель, его дома не было, но фотографии я его видел. У Ивана над столом ими вся стена увешана.

Она снова чему-то улыбнулась. Мне даже захотелось оглянуться, потому что выходило, что она улыбалась кому-то, кто стоял позади меня. У меня так бывает. Например, мне иногда кажется, что я войду в свою комнату, а там сидит отец. Вот и сейчас мне захотелось оглянуться, и я бы оглянулся, но тут хлопнула входная дверь, и в комнату вошел дед.

Он пришел не один, а с шофером такси, и они втащили большой картонный ящик. Я сразу узнал, что это за ящик, но все это было настолько неожиданно, что и надеяться боялся.

Наконец шофер ушел, и дед сказал:

— А что вы на это скажете?

Я подошел, развязал веревку, приоткрыл ящик, увидел полированную стенку телевизора и сказал:

— Порядок.

— «Порядок»! — передразнил меня дед. — Какое куцее слово подыскал для выражения чувства восторга и радости.

Я промолчал, нечего было говорить, когда и так все ясно: телевизор стоит посередине комнаты и это действительно порядок. Наивысший, восхитительный, потрясающий, необыкновенный порядок!

Мама тоже подбежала к ящику, провела рукой по его гладкой, полированной поверхности и сказала:

— Такой дорогой. Спасибо, отец... Теперь мы не будем скучать вечерами. А для Юры это даже полезно: по телевизору все время идут передачи для детей. А то у Рябовых есть телевизор и у Поповых, у всех его приятелей, так он может в своем развитии отстать от них.

— Ну ладно, ладно, — сказал дед. — Где мы поставим сей предмет?

— Вон, в углу. Пока на пол, — сказала мать. — А потом купим маленький столик. — Она с беспокойством посмотрела на деда, какой-то у нее был виноватый вид. — Я получила на дом работу, перепечатаю, получу деньги, и купим столик. А ты, Юра, немного подождешь с курткой? Ладно?

— Могу подождать, — сказал я. Мне было обидно за мать, чего она так перед дедом... — А вообще-то я могу сделать столик сам, на уроке труда. У нас Роман Иванович любит, когда мы на уроке что-нибудь делаем для дома.

— Знаю я вашу работу. Один обман, — ответил дед. — На твой столик поставь эту вещь, цена которой сто девяносто рублей, а твой столик хряк... и нет телевизора.

— Мы делаем крепко, — сказал я. — Роман Иванович говорит, что у нас золотые руки.

— «Золотые руки»! Отойди, пожалуйста, от телевизора. Понял? Не ты купил, не тебе ломать.

— А я разве собираюсь ломать? — удивился я.

— Иди, иди, мы вдвоем с матерью все сделаем...

Я повернулся и отошел к окну, пока они там пыхтели около телевизора, вытаскивали его из коробки, ставили в угол и дед

проверял лакировку и отделку. «Ну и пусть себе проверяет, — подумал я. — Не знает даже, что проверять». Хотелось оглянуться и посмотреть, что они там колдуют, но я взял себя в руки — не оглянулся. Стоял, смотрел в окно, а сам слушал, что они говорили.

— Что это ты вдруг расщедрился? — спросила мать.

— Кто же вас пожалеет, если не я, — сказал дед.

— Спасибо, отец, — сказала мать.

— Только ты Юрия предупреди, чтобы он не таскал к нам ребят со двора. Обязательно сломают...

— Конечно. После них разве что лишняя работа, — в тон деду поддакнула мать. — Полы все затопчут...

Мать говорила как-то неуверенно, она ведь была совсем другой, и то, что она сейчас говорила, было против ее воли. Она подлаживалась под деда, просто старалась ему угодить, и все из-за какого-то телевизора. Плевать мне тысячу раз на этот телевизор. Ни разу к нему не подойду.

Хуже всего, когда человек только для себя. Мне бы сейчас поговорить с дедом, как надо, а я молчу. Знаю, что дед жадный, несправедливый, а прощаю его и даже иногда похваляю ребятам. Странно это... Чужих осуждаешь, а своим все прощаешь. А вот Иван Кулаков ни за что бы его не простил.

— Эй, Юрий! — крикнул дед. — Подойди, помоги.

Я даже не оглянулся.

— Кажется, я попал в немилость, — сказал дед. — Они очень чувствительны.

— Юра, будь справедлив к деду, — сказала мать. — Без него мы просто пропали бы.

Не буду прощать! Не буду, не буду! Хотелось сделать себе больно-больно, ударить себя, чтобы можно было заплакать. Прижался лбом к стеклу и надавил изо всех сил: нос приплюснул, и губы прижал, и стал смотреть в окно напротив, где сидели люди и пили чай. Мирно так пили, а потом один вскочил, стал размахивать руками и кричать.

— Эх, молодо-зелено! Ничего, ничего, Галина, — сказал дед. — Я на него не обижаюсь. Вырастет — поймет и меня еще вспомнит добрым словом.

В это время зазвонил телефон, и мама выскочила в коридор. Она о чем-то там долго болтала по телефону, но ничего не было слышно,

потому что дед включил свой телевизор и опробовал звук. Он так его опробовал, что от грохота в ушах звенело. А потом вернулась мама. Она была в новом пальто. Узенькое такое пальто из коричневого вельвета. Она его сама шила, а примерку делала по мне. Я еще ни разу не видел ее в пальто.

— Ну как выглядит твоя старушка, Сережка? — спросила она.

Это теперь у нее на целый вечер. То Гвоздик, то Сережка, то Лопушок, то Кешка. Ей нравится, что я на все имена откликаюсь без запинки.

— Не плохо, — сказал я.

Действительно, ей здорово было к лицу это пальтишко. Она была в нем какая-то ненастоящая, какая-то Золушка, какая-то коричневая птичка, и я вдруг подумал, что она это пальто сшила для него. Совершенно ясно, что ей захотелось покрасоваться перед ним, потому что она его шила целых два месяца без всякого интереса, а тут в два дня все закончила.

Она подошла к зеркалу, попудрила нос и сказала:

— Я ненадолго.

Дед и я молча посмотрели на нее. Всем все было ясно, но каждый продолжал играть в кошки-мышки, никто не мог первый сказать правду.

— В магазин, — сказала она. — И еще кое-куда...

Она повернулась, чтобы уйти, а я решил ей крикнуть вслед, в ее тоненькую коричневую спину, что знаю, о каком магазине идет речь, — так это меня захлестнуло, так это пахло предательством. Я даже почувствовал запах этого предательства: у него был кислый, незнакомый запах и он сильно ударил мне в нос. Раньше она никогда не покупала духи, говорила, что это дорого.

Мама словно почувствовала мое состояние, остановилась в проеме дверей и оглянулась. И эти ее жалобно-умоляющие глаза, и робкая улыбка, за которую она всегда прятала свою нерешительность, ударили меня по сердцу, и я ничего не смог ей сказать.

И она ушла, и теперь вместо нее в проеме дверей зияла темная пустота передней. А я все смотрел в эту пустоту, надеясь, вдруг мать вернется, снимет пальто и останется дома.

Отец бы, вероятно, за это меня осудил: как же, мол, я берегу мать, если не остановил ее сейчас. И правильно бы осудил...

Я вышел в темноту передней и, не зажигая света, стал одеваться. Дед шмыгнул следом за мной и зажег свет.

— Я ненадолго, — сказал я, подражая матери. — К товарищу и еще кое-куда.

— Не тебе судить мать, — сказал дед. — Мал еще.

Значит, он тоже обо всем догадался. Ну что ж, тогда и объяснять нечего. На всякий случай хлопнул дверью так, что ему и без слов стало ясно, как я к этому отношусь.

Эфэф закрыл толстую потрепанную тетрадь. Видно, он до моего прихода ее читал и я ему помешал. Чем он был хорош, так это тем, что никогда не произносил любимой фразы взрослых, которые всегда заняты и желают побыстрее отделаться от нашего брата: «С чем пожаловали, дорогой мой или милый мой?» По-моему, эта фраза никак не годится для начала разговора, она сразу отбивает всякую охоту вообще разговаривать. А у Эфэф не так. Раз пожаловали, значит, пожаловали. Значит, надо.

Мы помолчали.

Как всегда, на рубахе у него пуговицы были застегнуты не в те петли, и воротник от этого съехал набок. Нет, он был совсем не то, что наш историк Сергей Яковлевич, который всегда ходил в новеньких, отглаженных костюмах и был «любезным и прекрасным».

Эфэф просто многого не замечал и разговоры обычные вести не умел: там, какая погода, дует ветер или не дует, или еще какую-нибудь ерунду. Вот не умел он болтать.

— Сейчас читал письма отца к маме. Она их в эту тетрадь вклеила, чтобы сохранились. — Эфэф кивнул на тетрадь, что лежала на столе. — И убедился, к своему стыду, что ничего толком не помню. Понимаешь? Ничего... Даже обидно стало. Стоит мне закрыть глаза, и я вспоминаю отца, маму, нашу комнату. Обои у нас были почти белые, и мама разрешала мне на них рисовать. А вот о чем мы говорили в то время, не помню...

Мой отец был инженером-энергетиком и без конца строил где-то электростанции. А мы с мамой жили в Москве и только делали, что ждали его. Помню его три приезда за всю мою жизнь. В первый раз он приехал в гражданском костюме: ему было двадцать пять лет, но мне он показался дедушкой, потому что у него была борода. Перед отъездом он нарисовал на стене, рядом с моими рисунками, кошку с зелеными глазами. Потом, в сорок первом, мы с мамой бегали на Белорусский вокзал, его эшелон шел на фронт через Москву. Он тогда снял со своей шапки-ушанки звездочку и подарил мне.

Он вернулся уже после войны. Однажды утром вошел в комнату, как будто отсутствовал дня три или четыре. У него были свои ключи, и он открыл ими входную дверь так тихо, что мы не слышали.

С этими ключами целая история приключилась. У нашей соседки украли сумку, и в ней были ключи, ну, она испугалась как бы нас не обворовали, и купила новый замок. А я его врезал в дверь. Мама пришла с работы, увидела новый замок и заплакала...

Вот сегодня я прочел письмо отца с фронта, в котором он написал, что новые ключи от квартиры получил, и понял, почему мама тогда плакала. Она хотела, чтобы у отца там, на фронте, были ключи от нашей квартиры.

И вот он вошел тогда в комнату, снял фуражку, и я увидел, что он стал седым. А через несколько дней после возвращения он спорол погоны и снова уехал... Потом погиб, восстанавливая ДнепрогЭС... Подорвался на немецкой мине.

Эфэф замолчал; я знаю, что делают, когда так молчат. В эти минуты или даже секунды перед человеком вспыхивают, как маленькие костры, видения прошлого. Он сейчас, конечно, видел своего отца, и свою маму, и их комнату с рисунками на стене, этого кота с зелеными глазами.

— Из всех учителей почему-то запомнил одного географа, — снова начал свои воспоминания Эфэф. (Я не стал его перебивать и отвлекать, пусть выговорится, раз ему это надо.) — Он всегда нам рассказывал то, чего не было в книгах, в учебниках, и поэтому мы его любили... Товарищей внешне помню, а себя нет. Никогда не видел себя со стороны. Так вот и с тобой будет, я тебя лучше запомню, чем ты сам себя. Ты в моей памяти останешься таким, какой ты сейчас есть: маленький, лохматый, точно тебя кто-то только что сильно обидел и ты после этого долго болтался по переулкам, разговаривая сам с собой... В поисках истины, которую нелегко найти... А сам ты себя таким не будешь помнить. Вот хорошо это или плохо? Как ты думаешь?

— Не знаю, — ответил я.

— По-моему, хорошо, — сказал Эфэф. — Каждый человек должен меньше всего помнить о себе и больше о других. — Он снова помолчал, потом откинулся на спинку стула и сказал: — Что до матери...

Он встал, подошел к полке, взял какую-то книгу и стал читать слова, будто специально написанные для меня:

— «Что до матери, то, конечно, я заметил и понял ее прежде всех. Мать была для меня совсем особым существом среди всех прочих, нераздельным с моим собственным, я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого... С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Всё и все, кого любим мы, есть наша мука, — чего стоит один этот вечный страх потери любимого! А я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней — к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой, поразила тем более, что, в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью: сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст!...» Ты что, подружился с Кулаковыми? — вдруг спросил Эфэф.

Сразу было видно, что он разволновался, желает это от меня скрыть и поэтому спросил про Кулаковых.

— Не с Кулаковыми, — уточнил я. — А с Кулаковым.

— Надежный парень?

— Надежный... Еще какой... И семья у них будь здоров: мама врач, а отец летчик-испытатель... На сверхзвуковых...

— Летчик? — перебил меня Эфэф. — А я все думал, на кого это похож Иван Кулаков... Кулаков, вот оно что.

— А вы что, знаете его отца?

— Нет... На фотографиях видел... И даже один раз в кино... Этот Кулаков знаменитый летчик... Он разогнал самолет до скорости три тысячи километров в час...

Эфэф рассказывал мне о Кулакове, а сам, видно, думал о своем, и разволновался он здорово от этих воспоминаний. Я по себе знаю: когда такое привяжется, нелегко отвлечься. У него даже начала чуть-чуть дрожать нижняя губа.

Я как-то спросил, почему у него дрожит губа. А Эфэф мне ответил, что у него это бывает, если он сдерживает улыбку.

Сначала я ему поверил, правда, мне показалось странным, что человек сдерживает улыбку, когда ему хочется улыбнуться. Вроде бы ни к чему. А потом понял, что он меня обманул, потому что у него губа иногда начинала дрожать в самое неподходящее время, когда

было не до смеха, вот как сейчас. Просто не хотел отвечать на этот вопрос и намекал: мол, не лезь не в свое дело.

Между прочим, я бы и не полез, но у моего отца, когда он волновался, прыгала левая бровь — следствие контузии.

— Федор Федорович, а почему вы сами не пошли в летчики? — спросил я. — Это ведь интереснее, чем возиться с нами.

Эфэф прикусил губу, и теперь нельзя было понять, дрожит она или нет, потом сказал:

— Нет во мне ничего геройского... Поэтому не пошел...

Я промолчал. Действительно, геройского в нем ничего не было, но уговаривать его в обратном ради вежливости мне не хотелось. Не такой он был человек, не нуждался в этом, и в голосе его совсем не было обиды, что он не герой.

Только сейчас я заметил, что у него к спине привязана электрическая грелка на длинном шнуре. Эфэф увидел, что я смотрю на шнур, и сказал:

— Люблю погреть спину. — Снял грелку и небрежным движением бросил ее на стол.

Когда я вернулся домой, дед уже спал, а матери еще не было.

Я сел и стал ее ждать...

Походил по комнате, зачем-то попрыгал на одной ноге, поиграл с лошадкой, как трехлетний пацан, привязал к ее шее нитку и таскал по столу.

Хуже всего ждать и замирать каждый раз, когда где-то внизу хлопает дверца лифта, и надеяться, что лифт остановится на нашем этаже.

Потом покривлялся перед зеркалом.

Потом потушил в комнате свет, и долго смотрел в темный двор, и считал несколько раз до тысячи и один раз до пяти тысяч.

А потом мать наконец пришла, и я, как был одетый, только скинув ботинки, нырнул под одеяло.

Она осторожно разделась, подошла ко мне, нагнулась, и на меня пахнуло свежим воздухом от ее щек и губ. И я уже хотел закричать ей, что она может идти к нему, раз она без него не может жить! А я как-нибудь проживу и один! Но я не открыл глаза и ничего не закричал, и она, еще немного постояв надо мной, неслышно ступая на носках, прошла в ванную комнату. И оттуда до меня донесся еле уловимый ее смех — ей так было хорошо и весело, что она смеялась наедине с собой.

После этого я каждый день ждал, что она мне все расскажет сама, как бывало раньше, но она молчала. Не могла, вероятно, набраться храбрости, она ведь нерешительная, но с работы теперь она всегда приходила с опозданием и часто исчезала из дому вечерами.

Мне бы надо было ей крикнуть: «Эй, мама, отзовись, расскажи, какая ты, когда одна, днем или ночью в темноте, о чем ты думаешь? Давай посидим вдвоем и все обсудим. Я ведь уже не маленький, и отец мне приказал, чтобы я берег тебя».

Но легко сказать крикни, а трудно крикнуть, потому что неизвестно, как на твой крик ответят. А вдруг она меня не поймет, и я молчал и думал, что она... «горькая любовь всей моей жизни».

Теперь, прежде чем открыть дверь класса, я всегда думаю о том, что увижу за первой партой Кулаковых. Ивана, этого необыкновенного человека, моего лучшего друга, и его прямую противоположность — его ехидную сестричку, рыжую бестию Тошку.

Вхожу в класс, а глаза влево, влево, влево. Это у меня рефлекс, даже не хочу косить, а кошу. Я бы мог, конечно, просто подойти к Ивану, и все, но мне нравится, когда он на виду у всего класса окликает меня.

Значит, иду я прямо, а глаза влево, влево, влево. Но вот Иван увидел меня и окликнул. А я, когда вижу его, всегда почему-то хочу улыбаться.

— Здорово, — говорю и крепко жму ему руку.

— Привет. — Он тоже крепко жмет мне руку в ответ.

И вдруг эта Тошка, эта рыжая бестия, — до сих пор она сидела к нам спиной — поворачивается и протягивает мне ладошку. У всех на виду! Желает поздороваться. Каково? А сама на меня так нежно и лукаво смотрит и жеманно улыбается. И прическа у нее новая: на макушке бантик, а волосы болтаются до плеч. Взял и потрянул ее ладошку изо всех сил, чуть не вырвал руку, чтобы в следующий раз не лезла. А она захохотала на весь класс и сказала:

— Сократик у нас самый вежливый мальчик во всем классе. Прямо французский мушкетер граф де ла Фер.

Я даже покраснел от ее слов.

— Хватит дурачиться, — сказал Иван.

Она презрительно оглядела брата, ловко у нее это получилось: сощурила глаза, ногу на ногу закинула, чтобы все видели ее настоящие капроновые чулки, и отвернулась.

— Вообще-то я за мужскую дружбу, — громко сказал я.

— Я тоже за мужскую дружбу, — ответил Иван.

Тошка по-прежнему сидела к нам спиной. А спина у нее худущая; по ней хорошо считать позвонки, как у скелета. Ну, думаю, позвоночная твоя душа, сейчас я тебя доконаю.

— Мужская дружба — это надежно! — и заметил, что она напряглась, выпрямила спину и позвонки у нее пропали. Самое время было уходить, пока она не бросилась в атаку. Но какой-то отчаянный черт крутнулся во мне, и я добавил: — А на девчонок лично мне наплевать, я на них плюю с самой высокой вершины мира.

И тут она ко мне повернулась и при всеобщем внимании сказала:

*Не властны мы в самих себе
И в молодые наши леты
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.*

Значит, она запомнила эти стихи, когда их прочитал Эфэф, и теперь намекала, что некоторые мальчишки ругают девчонок, а потом сами же пишут им всякие записочки.

Девчонки, конечно, захохотали и захлопали в ладоши. Ах, как остроумно, ах, как ловко и смело!

— Это, может быть, вы «не властны в самих себе», — сказал я и скрестил руки на груди, принял позу нашего любезного историка Сергея Яковлевича. — А мы-то властны.

Дело в том, что все наши девчонки от него без ума, млеют и блеют, как овечки, когда его видят. У них у всех по истории только пятерки. Нет, правда. Вы когда-нибудь слышали о классе, в котором учатся семнадцать девчонок и у всех пятерки по истории? Прямо неповторимое историческое чудо. Такого необыкновенного класса не отыскать во всем Советском Союзе и, может быть, даже во всем мире.

И эта рыженькая штучка тоже уже успела схватить пятерку.

Девчонки начали нервно хохотать и визжать. А Зинка-телепатка сказала, что сейчас она докажет, что это не совсем так, и сделала несколько шагов в мою сторону. Вот привязалась...

— Уйди ты, надоело, — сказал я.

— Девочки, — таинственно зашептала Зинка, — он боится.

И действительно, я боялся. Неизвестно, что она могла еще наплевости, и самое главное, что девчонки в нашем классе крикливые, они кого хочешь на смех подымут.

— Ребята, ладно, — сказал Иван и нагнулся к нам: — Экстренное заседание пятого звена считаю открытым. Сногсшибательная

новость. — Мы стояли кружком, как баскетболисты во время перерыва, склонив головы к Ивану. — Если наше звено выйдет на первое место, — продолжал Иван, — то нас всех к Октябрьским праздникам примут в комсомол.

— Вот здорово! — сказал я.

— Здорово, — сказала Тошка совсем уже не жеманным голосом.

— Вырвемся? — спросил Иван.

— Вырвемся, — ответила Ленка.

Когда мы отошли от Ивана, Зина наклонилась ко мне и жалобно сказала:

— Сократик, я сегодня не выучила истории.

Не хватало того, чтобы она схватила двойку.

— Десять минут тебе достаточно? — спросил я.

— Достаточно, — ответила Зинка.

— Можешь на меня положиться, — сказал я.

Действительно, совсем было бы неплохо вырваться на первое место и вступить в комсомол. Может быть, тогда можно будет летом вместе со студентами махнуть на целину или организовать хор и рвануть на Сахалин и Камчатку — для комсомольцев все дороги открыты. Я читал в какой-то газете про такой молодежный хор. Они выучили несколько песен и поехали на Дальний Восток — их там здорово принимали. Конечно, петь — это не работать, но все-таки...

Прозвенел звонок, и в класс вошел историк.

Сергей Яковлевич сегодня был как картинка. В новом темно-сером костюме и синем галстуке с какими-то блестящими звездочками. Когда он повернулся ко мне спиной, я увидел, что пиджак у него с двумя длинными разрезами по бокам — писк моды! — и затылок так аккуратно подстрижен, как на фотографиях, которые выставлены в парикмахерских. Вот если бы я был такой!... Тогда бы мы с Тошкой поговорили!...

— Ребята, — сказал Сергей Яковлевич. — Прежде чем начать урок, я открою вам маленькую тайну... — Он помолчал. — Дело в том, что я пишу диссертацию на тему: «Новые методы ведения уроков». Понимаете, многие наши ученые изучают проблемы, как бы вас учить так, чтобы вы побольше знали... Ну, и я вот тоже решил приложить к этому руку, — скромно закончил свою речь Сергей Яковлевич.

— Сергей Яковлевич, можно вопрос? — спросил я. Надо было выручать Зинку. — Сергей Яковлевич, а как вы относитесь к проблеме обучения во сне?

Историк стоял возле парты Кулаковых, заложив руки в карманы, и издали был очень похож на доктора Зорге. Тошке, видно, он очень нравился, она ела его глазами.

— Это сложная проблема, — сказал Сергей Яковлевич. — В другой раз, Палеолог.

Зинка сделала страшные глаза. Она оплянула и прошептала:

— Сейчас вызовет меня.

Это уже было опасно. Я снова встал и сказал:

— А все же, Сергей Яковлевич?

— Я же сказал — это в другой раз. — Сергей Яковлевич чуть повысил голос.

Зинка опять сделала круглые глаза: эта несчастная телепатка никак не могла дочитать заданную страницу.

— И еще одно, ребята, — снова начал Сергей Яковлевич. — У нас на уроке будет присутствовать доцент из Академии педагогических наук — Нина Романовна Байкова. Она контролирует мою диссертацию... Так что я на вас надеюсь...

Зинка в ужасе схватилась за свою телепатическую голову, а Сергей Яковлевич подошел к дверям и громко сказал:

— Нина Романовна, пожалуйста!

В дверях появилась — о ужас! — женщина из нашего подъезда. Я ее знал сто тысяч лет, она жила в нашем доме на первом этаже и всегда боялась, что мы выбьем ей окно футбольным мячом, и поэтому, высунувшись в окно, часто ругала нас и грозила милицией. Мы все встали, и она оглядела класс; пришлось скорчить рожу, чтобы она не узнала меня.

— Здравствуйте, ребята, — сказала Нина Романовна совсем не своим голосом, не сказала, а пропела. (Ее-то голос уж я знаю отлично.) — Садитесь, садитесь. — Она скромно прошла к последней парте и с трудом, смущенно улыбаясь, втиснулась в парту.

Мы замерли... Урок начался.

Сергей Яковлевич склонился к классному журналу и стал шарить глазами, кого бы вызвать... Видно, он колебался, видно, ему совсем не

хотелось ударить лицом в грязь, чтобы подорвать свою диссертацию «Новые методы ведения уроков». Наконец он поднял голову и сказал:

— Сулоева.

Зинка медленно встала, оглянулась на меня и гордо пошла к доске. А я чуть не упал с парты: это же надо, это же телепатия в действии, чтение чужих мыслей на расстоянии! Все-таки я всегда был прав, когда держался от нее подальше: этак она все тайное в одну минуту сделает явным. Ее бы в разведчики, она просто пропадает в школе.

— Сулоева, — сказал Сергей Яковлевич, — расскажи нам про поход Суворова через Альпы... Как всегда, совершенно не обязательно, чтобы ты говорила только по учебнику... Свободно, свободно преподноси материал...

И вдруг Зинка, та самая Зинка, которая только что просила меня выручить ее и говорила, что ничего не знает, и умирала от страха, затараторила, как хорошо заряженный автомат: та-та-та! — очередь по представительнице из Академии педагогических наук; та-та-та! — снова очередь.

Она рассказала и про Альпы, и попутно про самые высокие вершины этих расчудесных, распрекрасных гор, и про знаменитых альпинистов, которые штурмовали Монблан, и даже сколько этих храбрых альпинистов погибло, и про новый тоннель, который пробит сквозь Альпы и на двести пятьдесят километров сократил путь из Франции в Италию... И, конечно, про суворовский поход.

Сергей Яковлевич улыбнулся. Вот что значит свободно преподнести материал, вот она, новая система в действии. И Иван улыбнулся — наше звено вырвалось на первое место.

Я скосил глаза на представительницу. Она была довольна ответом и тоже улыбалась, на моих глазах впервые в жизни: значит, оценила нашу Зиночку.

А Зинка тем временем, опустив долу очи, как какая-нибудь царевна морская, прошла к своему месту.

— От лица нашего звена, — прошептал Рябов, — объявляю благодарность...

— Чудак, — тихо ответила Зинка. — Я ведь ничегошеньки не знала... Просто прочитала мысли Сергея Яковлевича...

У меня прямо зубы щелкнули от возмущения — ох эти девчонки, любят притворяться! Все выучила, а притворилась и из меня еще дурачка сделала.

Мне почему-то стало чуть-чуть скучно. Все-таки обидно, когда ты всем сердцем, а из тебя делают дурачка. Другие не обижаются, когда их разыгрывают, а я почему-то обижаюсь. Я и сам поэтому никого не разыгрываю. Говорят, что я юмора не понимаю, но при чем тут юмор, когда идет просто вранье. Не ожидал я этого от Зинки.

Сергей Яковлевич снова стал шарить по списку, но теперь я был спокоен, я знал, что все эти «поиски» — просто искусный суворовский маневр, военная стратегическая хитрость. Совершенно ясно было, что для закрепления своей полной победы он вызовет зубрилу Рябова. А Сергей Яковлевич продолжал напряженно искать, кого бы вызвать, но вот он поднял глаза...

— Рябов, — прошептал я.

Я тоже был неплохой телепат.

Сергей Яковлевич услышал, что я прошептал фамилию Рябова, но притворился, что не понял.

— Ты что там шепчешь, Палеолог? — строго спросил он.

— Ничего, — ответил я.

— Рябов, — вызвал Сергей Яковлевич.

Рябов бодрым шагом вышел к доске. У него голова была круглая, как ядро от старинных пушек-мортир, какая-то историко-археологическая голова, и лицо у него было круглое, и глаза круглые.

— Скажи мне, Рябов, чем прославил Россию Суворов? — спросил Сергей Яковлевич.

Теперь надо было внимательно слушать, потому что я урок не очень-то хорошо выучил, а эта милая Курочка Ряба всегда шпарит точно по книге, и с его помощью можно слегка укрепить свои позиции.

— Во второй половине восемнадцатого века прославился русский полководец А. В. Суворов, — процитировал Рябов. — Многими своими успехами обязана ему Россия. Он не потерпел ни одного поражения и выиграл все сражения, в которых участвовал. Знамениты его победы во время русско-турецкой войны на реке Рымнике в 1789 — ему присвоили за них почетное наименование «Рымникский». Он прославился взятием неприступной турецкой крепости Измаил в 1790

году, знаменитым походом через Альпы во время швейцарского похода в 1799 и многими другими подвигами...

— Хорошо, хорошо, — перебил его Сергей Яковлевич. — Достаточно... А теперь расскажи нам о Ломоносове...

И Рябов начал, не вздохнув:

— Михаил Васильевич Ломоносов родился в 1711 году в деревне близ города Холмогоры...

Тут я вспомнил фильм «Сережа» и вспомнил, как «мальчишка, герой этого фильма, ревел, когда родители уезжали в эти самые Холмогоры, а его оставляли на старом месте, и он так жалобно повторял: «Хочу в Холмогоры, хочу в Холмогоры...» И мальчишка был беленький, симпатичный. Я совсем забыл про Рябова и вспомнил почему-то пацана с нашего двора, который вместо буквы «д» говорил букву «г». Однажды я его застал в подъезде, когда он дрался с кошкой, и сказал ему: «Нашел с кем драться». А он мне в ответ: «Гля кого кошка, а гля меня тигр».

— Все возбуждало пытлившую любознательность маленького Ломоносова. — Это был снова Рябов. — Северное сияние, льдины, с шумом и грохотом сталкивающиеся между собой, морской прилив и отлив. Мальчик жадно хотел учиться, а учиться было негде.

До чего же этот Рябов трещал, у меня голова закружилась. Он так шпарил по книге, что противно было слушать. Я зевал так, что мог пролотить Сергея Яковлевича, представительницу и за компанию Рябова. Вот тогда-то наступила бы тишина.

— С большим трудом достал он книги, очень обрадовался, — продолжал Рябов, — когда добыл учебники — грамматику и арифметику, жадно читал их и перечитывал...

До чего же этот великий Михаил Ломоносов был жадный до всего: жадно хотел учиться, жадно читал и перечитывал учебники.

— Достаточно, — сказал Сергей Яковлевич.

Потом он галантно повернулся к представительнице и спросил:

— Нина Романовна, может быть, у вас будет какой-нибудь вопрос к Рябову?

Нина Романовна задумалась, а мы все уставились на нее: неужели она будет так жестока?

— Скажите мне, Рябов, — у нее был такой милый голос, просто нежнейший тоненький голосок, — когда был основан город

Петербург, нынешний Ленинград?

— Только свободнее, свободнее, Рябов, — попросил Сергей Яковлевич.

И вот тут-то Рябов дал на полную железку:

— На Заячьем острове, близ правого берега Невы, в мае 1703 года заложили по чертежу Петра I Петропавловскую крепость. Около этой крепости на болотистых берегах Невы Петр решил основать новую столицу государства.

И думал он:

— вдруг завыл Рябов стихами, —

*Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.*

Так писал Пушкин об основании Петербурга в своей поэме «Медный всадник». Новая столица была основана в 1703 году и названа городом Петра — Петербургом. Позже она стала называться Санкт-Петербургом или просто Петербургом. «Санкт» — означает святой. Точный перевод названия «Санкт-Петербург» — святой Петра город.

— Отлично, Рябов, — сказал Сергей Яковлевич. — У вас будут еще вопросы, Нина Романовна? Нет? Садись, Рябов.

Когда же Рябов бодрым солдатским шагом прошел к своему месту, началось самое главное. Сергей Яковлевич стал возбужденно ходить по классу, поворачиваясь то к одному, то к другому ученику, и быстро говорил:

— Смирнова, детальку про Суворова?

— Суворов очень любил простую солдатскую пищу, — сказала Смирнова. — Особенно гречневую кашу...

— Кулакова?

— Где проходит огонь, там пройдет и солдат. — Она, по-моему, улыбнулась Сергею Яковлевичу. Эти девчонки из-за него готовы были идти на эшафот.

— Матвеева?...

— «Русак не трусак!»

— Коршунов?

— «Вы — орлы, вы — чудо-богатыри!» — так любил говорить солдатам Суворов.

Ребята рвались отвечать, каждому хотелось легко и просто отличиться, каждому охота была покрасоваться, сказал три или четыре слова — и сразу в умниках... А Сергей Яковлевич улыбался, урок проходил на славу... Он был как ловкий кукольник: дернет за веревочку, кукла вскакивает и говорит именно то, что надо кукольнику...

И тут он тыкнул в меня, и я вскочил, и все стали смотреть мне в рот, и эта представительница. А у меня в голове вдруг неизвестно откуда стала вертеться фраза: «Ненавистница футбола». Я даже испугался, что она у меня сама по себе выскочит и обидит ее, потому что, может быть, если бы под моими окнами каждый день играли в футбол, так я бы тоже таким голосом заговорил, как громкоговоритель, или завыл бы сиреной, как «скорая помощь»...

— Ну? — Сергей Яковлевич посмотрел на меня жалобными глазами: мол, не подведи, эксперимент погубишь.

Я хотел сказать, что я не могу так, что мне надо подумать, но в этот момент я вспомнил поговорку, вроде бы суворовскую: «Смелого штык не берет, смелого пуля боится»; я уже приготовился ею выстрелить в историка, только мне показались эти слова до обидного несправедливыми. Сколько храбрых людей погибло, а здесь вдруг такая поговорка. И Суворов, конечно, ее никогда не придумывал...

— Суворов, — сказал я. — Суворов... — В голове завертелось, и я напрочь забыл все про Суворова; если бы меня сейчас спросили, кто такой Суворов, то я бы вообще ничего не ответил или сказал бы какую-нибудь чушь. И тут я вспомнил такую картинку: в большой железной клетке везут человека — это Пугачев... А рядом гарцует на коне офицер — это Суворов, и я сказал: — Суворов привез в железной клетке Пугачева. — Потом мне этого показалось мало, и я добавил: — Чтобы казнить его на Лобном месте в Москве...

В классе наступила мертвая тишина, будто я сказал что-то ужасное, будто я оклеветал великого полководца и все теперь не знают, как им поступить со мной.

Первым нашелся Сергей Яковлевич.

— Так, — сказал он. — Этот случай был в жизни Суворова... Мрачный случай... Он потом переживал его всю жизнь... История наша не любит фальсификаций... Суворов тогда был молод, неопытен... Так. Ну а что ты еще знаешь о Суворове? О полководце Суворове, народном герое, гордости русского народа?...

Я промолчал. Не хотелось почему-то ничего говорить, язык перестал ворочаться, и я забыл все буквы и разучился складывать их в слова.

— О походе через Альпы?

— ...

— О взятии Измаила?

— ...

— О взятии Константинополя?

— ...

— Я вынужден буду тебе поставить двойку, — сказал Сергей Яковлевич, четким шагом подошел к учительскому столу и вклеил мне двойку.

И наше звено благодаря мне шарахнулось на последнее место. Я покосился на представительницу, она что-то писала в толстую тетрадь. Потом подняла глаза, и наши взгляды встретились.

По-моему, она меня узнала, потому что на секунду превратилась в «ненавистницу футбола». А когда проходила мимо меня, даже укоризненно покачала головой. Определенно узнала. Теперь разнесет по всему двору. Но это все было ерундой по сравнению с тем, что случилось дальше...

Не успела захлопнуться дверь за Сергеем Яковлевичем и его спутницей, как Иван подскочил ко мне и, еле сдерживаясь, почти закричал:

— Ну, что ты скажешь в свое оправдание?

— Иван, ты потише можешь? — попросил я. — Я тебе потом все объясню.

— Ах, какой нежный, он боится огласки! — снова в полный голос сказал Иван. — Размазня... Всех подвел.

Глаза у него стали какие-то чужие и даже потеряли свой цвет. Обычно они у него, как у Тошки, синие, а тут как-то побелели.

— Да брось, Иван, — сказал я. — Да я... да я... завтра исправлю двойку. Иван, я же не хотел. — Я захохотал, решил превратить все в

шутку. — Ты же не знаешь самого главного... Эта представительница из академии, Нина Романовна, из нашего дома... Страшная женщина, она все время нас гоняет, потому что мы под ее окнами играем в футбол. Ну, я как увидел ее, испугался, решил: сейчас она на мне отыграется, и все сразу из головы выскочило. Ты не знаешь этой женщины... — Хохотал прямо до слез, а он смотрел на меня по-прежнему чужими глазами и совсем не смеялся.

— Слушай, малютка Сократик, ты просто дурачок какой-то, — сказал Иван.

Честно, этого я не ожидал. Зачем он так унижает меня? Подошел бы и высказал все потихоньку, а то орет на весь класс. Он бы еще на всю школу заорал. А тем временем все наши столпились вокруг нас, и даже кое-кто из чужих, и в первых рядах, конечно, торчала шарообразная голова вездесущего Рябова. И все уставились на меня, и те, кто собирался выйти в коридор, повернули оглобли обратно. Интересно, неразлучные друзья и вдруг крики и драка.

— И не подумаю исправлять, — сказал я.

А все-все смотрели на меня. Тошка, та прямо развернулась в мою сторону. Против ее Ивана, ах, ах, ах!

— Нет, вы слышите? — возмутился Иван. — Вы все слышали?... Ничего, мы тебя проучим...

— Но ведь я правду сказал про Суворова, а он придрался, — сказал я.

— Ну и что? — ответил Иван. — Кто тебя за язык тянул при посторонних?

— Выходит, на правде далеко не уедешь, — сказал я. — Выходит, для своих одна правда, а для посторонних другая? Здорово у тебя получается.

— Еще один воспитатель на мою бедную голову... Ребята, видали вы этого правдолюбца-двоечника? — Иван засмеялся своей остроте. — Вот мы вышибем тебя из звена, тогда поплачешь.

— Точно, — подхватил Рябов. — Правдолюбец-двоечник. Типичный ты, братец, Хлестаков. Без царя в голове и одет по последней моде.

Все, конечно, стали хохотать. А Иван, вместо того чтобы одернуть Рябова, тоже засмеялся.

После уроков я первым выскочил во двор, чтобы перехватить Ивана и объяснить с ним с глазу на глаз.

За двойку, пожалуйста, казните меня, но не за правду.

Сел на скамейку и стал ждать. Небрежно так постукивал рукой по спинке скамейки, изображая полное безразличие, хотя от напряжения внутри все дрожало.

Другие скажут, из-за какой-то ерунды волноваться в наше время, но для меня это не легко и не просто. Из-за чего же тогда надо волноваться в наше время, если не из-за этого?! Это же самый принципиальный вопрос.

Я ему все равно докажу свою правоту. Я уже кое-какие слова придумал: когда заранее придумаешь, всегда надежнее.

«Выходит, ты считаешь, что победу можно завоевывать любыми средствами?» — спрошу я его.

Он ответит, конечно, утвердительно.

«Выходит, победителей не судят, Ванечка?»

«Ну, предположим», — ответит он.

«А ты знаешь, дорогой друг, кто так поступает?»

«Интересно, кто же?» — наивно переспросит он.

Он любит прикидываться наивным, это у них с Тошкой общее. Вообще чувствуется, что она на него плохо влияет.

«Фашисты!» Если я захочу, я умею убить фактом.

Наконец толпа ребят схлынула. Прошли все наши: и Рябов, и Зинка, и Тошка, а потом только появился Иван. Но он был не один. К нему пристала Ленка Попова. Я ему помахал рукой, но он скользнул глазами мимо меня и прошел, и что-то рассказывает ей, рассказывает... А она идет с ним рядом, размахивая своей новенькой синей сумкой на длинном ремне. Видно, считает, что очень у нее это красиво получается.

Я подумал, что Иван меня не заметил, и крикнул:

— Эй, Иван!

Он даже не оглянулся, а Ленка оглянулась, не выдержала, что-то сказала ему, и они пошли дальше.

Я пошел за ними. Надо было все же поговорить с Иваном.

И тут меня нагнал Эфэф. На улице он совсем не такой, как в классе. В классе он какой-то громкий и уверенный, а на улице превращается в обыкновенного человека небольшого роста, худенького. И пальто у него старое, вроде моего, и кепка со сломанным козырьком.

Он, конечно, великолепно видел, кто шел впереди нас, видел эту стриженую Ленку Попову, с ее распрекрасной синей сумкой, и Ивана Кулакова, который всеми силами старался ее развеселить, а иначе почему он так размахивал руками и так увлекся разговором, что столкнулся с прохожим. Значит, забыл обо всем на свете. А сам говорил: «Я твой лучший друг. Я за мужскую дружбу».

Ничего не скажешь, здорово получилось. Только на днях я ему расписывал, какая у нас надежная дружба с Иваном, а сегодня он видит эту любопытную картинку.

— Что ты такой печальный? — спросил Эфэф.

— Я? Наоборот, я очень веселый.

— Незаметно.

— А у меня внутренний смех.

— Внутренний смех всегда печальный, — сказал Эфэф. — Это я по себе знаю. Если меня кто-нибудь обидит, то я, чтобы заглушить эту обиду, смеюсь над собой.

— И помогает? — спросил я.

— Нет. Не помогает, — сказал он и вдруг добавил: — А женщины... женщины, так же, впрочем, как и мужчины, бывают иногда очень плохими: трусливыми, подлыми, плохими товарищами, но чаще, почти всегда, бывают прекрасными. Нежными, умными, преданными.

Он замолчал. Мне показалось, что он не просто так замолчал, а от собственных слов, что-то вспомнил. Какую-нибудь прекрасную, нежную, умную и преданную. Я внимательно посмотрел на него. Он смутился и как-то необычно улыбнулся уголками губ и глазами. Ясно, что я отгадал.

— А что ты скажешь о женах декабристов? — торопливо спросил Эфэф.

Нечего сказать, сравнил: жена, например, декабриста Трубецкого, которая пошла за своим мужем на каторгу, — и вдруг Ленка Попова.

Что-то старик не туда заехал. Ленка Попова, стриженная штучка с модной сумочкой, фик-фок на один бок, актрисуля для первоклашек: «Зайка серенький, зайка беленький пошел прогуляться в лесочек», — и Трубецкая?!

— При чем тут жены декабристов? — возмутился я.

— А при том, — ответил Эфэф. — Ты подумай и сам догадаешься, при чем...

Была у него такая привычка — сказать что-нибудь непонятное, поставить человека в тупик и замолчать.

Это он меня воспитывал: очень он любил заставлять нас думать.

А Ивану и горя мало. Идет себе, болтает о чем попало с Ленкой. Нет, я ни за что не буду думать и не поддамся воспитанию. Не хочу, и все. Не буду Ленку Попову сравнивать с женой Трубецкого.

Ох, до чего тошно стало! Сразу вспомнилось все самое плохое. Вспомнил, как дед вчера опять весь вечер повторял яро свою доброту и про нашу бестолковость и грозился нам с матерью показать, как надо жить. Мне даже хотелось подойти и треснуть по его телевизору, так он мне надоел со своей добротой.

Мы шли молча по переулку, а Иван и эта «княгиня Трубецкая» все еще маячили впереди нас. Я покосился на Эфэф — если смотреть на него с правой стороны, то около уха у него виден шрам — и приготовился убить его фактом. Он сам любит повторять, что «в оценке объективной истины факты — вещь положительная».

Значит, я решил убить его фактом, чтобы он не сравнивал больше наших девчонок с женами декабристов. Решил привести пример с Зинкой, с ее поведением на уроке истории. Я уже открыл рот, чтобы преподнести ему эту современную историю о коварстве, но около нас резко затормозила машина, и шофер ее, толстый лысый дядя в кожаной куртке как сумасшедший, чуть не сбив меня с ног, налетел на Эфэф.

— Федька! — кричал он, обнимая Эфэф. — Федька Долгоносик! — И прибавил ласково: — Милый мой Федька Долгоносик... На ногах... — Почти после каждого слова он ударял его по плечу, словно проверял на прочность. — Рад тебя видеть... Сколько же ты пролежал? — И снова ласково прибавил: — Милый мой...

— Три года, — ответил Эфэф каким-то странным голосом, и нижняя губа у него стала еле заметно дрожать.

Если бы я не знал его, как себя, то решил бы, что он готов расплакаться, так разволновался от этой встречи.

— А я, признаться, думал, что ты после этой аварии не справишься, — сказал шофер.

Это было что-то новое из биографии Эфэф. Оказывается, он раньше был шофером и попал в аварию. Мне поэтому хотелось услышать продолжение их разговора, но тут я увидел, что Иван прошел мимо своего дома и свернул в Ленкин переулок.

— Федор Федорович, до свидания, — сказал я и, не дождавшись ответа, побежал догонять Ивана.

Я сразу забыл и про шофера и про Эфэф.

Интересно было, чем это все кончится? Может быть, она позовет его в гости на чашку чая?!

Я влетел в Ленкин переулок, и теперь они, милые голубки, сизокрылый голубь Иван и пестрокрылая голубка Елена, прыгали у меня перед глазами. Он шел степенно, все же хватало выдержки. А она, от радости что ли, крутила свою сумку, как крутит свой молот перед броском олимпийский чемпион Ромуальд Клим. Честное слово, она отнимет у него рекорд.

Эх, Иван, Иван... Такой пустяк не можешь простить товарищу. Да если ты только пожелаешь, я завтра же получу по истории пятерку. Просто стану биографом Суворова и в лучшем виде опишу все его подвиги во славу родины. А если хочешь, я извинюсь перед Сергеем Яковлевичем и буду до конца моих школьных дней его учеником. Лучше, чем эти влюбленные визжалки.

В конце концов, я не возражаю против Ленки. Она совсем неплохой человек, и я ее знаю уже семь лет. Она даже как-то со мной и с моим отцом ходила в зоопарк и потеряла там свои варежки, и руки у нее от холода стали красными-красными. И тогда я ей отдал свои, хотя без варежек мне было холодно. Честно, отдал. А на большом пальце в моих варежках была дырка, и она все время высовывала в эту дырку палец, и мы хохотали.

Потом я заболел скарлатиной, и Ленка каждый день приходила к нашим дверям и что-нибудь оставляла для меня. Оставила машину «ЗИЛ-110». Привязала к дверной ручке. Потом лото. А потом принесла две книги: сказки Андерсена и «Голубую чашку» Гайдара.

Хорошие были книги, жалко их было сжигать, когда я поправился. Но отец сказал, что это необходимо, а то придут ко мне ребята в гости, возьмут эти книги в руки и заболеют.

Когда книги факелом пылали в тазу, я все думал про людей, что жили в этих книгах. Они были для меня как живые, эти люди, горящие на костре...

Когда я вышел на Арбат и проходил мимо трикотажного магазина, оттуда выскочила продавщица, та самая скандалистка, с башней на голове, и почти протаранила меня, но даже не подумала извиниться. Только на секунду я увидел ее глаза, по-моему, она плакала. Интересно, почему?

Я прошел мимо своих ворот и поплелся дальше по Арбату. Может быть, она кого-нибудь незаслуженно обидела, как меня, а он ее отругал, и теперь она рыдала. Так ей и надо, пусть других не оскорбляет.

Она шла, низко опустив голову, и я прибавил шагу, чтобы догнать ее. Хотелось посмотреть, чем кончится это представление.

Вижу, один мужчина на нее оглянулся, потом какая-то сердобольная женщина. Значит, думаю, она еще рыдает.

Она свернула в подъезд дома около магазина «Военная книга», и я заглянул в него: она стояла около телефона-автомата и смотрелась в зеркальце.

— Вы звонить? — спросил я.

Она оглянулась, щеки у нее были в темных ручейках от слез: потекла краска с подкрашенных ресниц, и теперь она платком терла щеки. Она ничего не ответила и отошла в сторону. Непонятно было, узнала она меня или нет? Для видимости снял трубку, повернулся к ней спиной и стал крутить диск.

Тем временем эта плакса-вакса оттерла щеки и вышла из подъезда. И я следом за ней. Догнал ее и пошел рядом. Пусть знает, что она негодна.

Идем рядом, почти нога в ногу. Она в легоньких домашних тапочках — видно, так поспешно выскочила из магазина, что забыла переодеть туфли.

— Вы меня узнали? — спросил я. — У нас был с вами такой приятный разговорчик... — Надо было ее как-то рассмешить.

— Отстань, — сказала она и прибавила шаг.

«Значит, узнала», — подумал я и снова догнал ее.

— А вы знаете, зачем я хожу в ваш магазин?

Она не слушала меня, вытащила платочек из кармана и вытерла свой отсыревший нос.

Я еле успевал за ней, это был какой-то кросс, точно мы ставили рекорд в спортивной ходьбе по пересеченной местности.

— В вашем доме когда-то жил А. С. Пушкин, — чтобы втянуть ее в разговор, сказал я. — Слыхали про такого?

Она промолчала.

— Ну вот я придумал, что именно в вашем магазине была его комната...

Она снова промолчала, мрачная была. Вероятно, разочаровалась в жизни.

— Я вчера двойку получил по истории и из-за этого поругался с другом. У нас там соревнование, а я всех подвел...

По-моему, я ей здорово надоел, вечно я лезу в чужие дела. Пора было уходить.

Мы как раз дошли до тоннеля, который идет от гостиницы «Националы» к Музею В. И. Ленина, и я остановился. Она стала спускаться в тоннель, прошла один лестничный пролет, оглянулась и замедлила шаг, точно поджидала меня... Я в одну секунду подскочил к ней, значит, не зря я так долго за ней шел, и мы спустились в тоннель.

А этот тоннель длиннющий, самый длинный в Москве: идешь, идешь и никак не дойдешь до конца. Там, в этом тоннеле, и цветы продают, и газеты, и какой-то старикашка пристроился с лотерейными билетами и кричал, зазывая покупателей, обещая крупный выигрыш.

И вдруг в тоннеле погас свет и стало темно-темно, и все люди начали громко разговаривать, окликая друг друга. И я тут же ее потерял, мою попутчицу. Хотел крикнуть, но я ведь даже не знал ее имени. Кто-то завыл, конечно, нарочно, а старикашка продавец завопил, чтобы никто не смел брать лотерейные билеты.

Я подумал, что, может быть, на самом деле его грабят, решил подойти поближе, зацепился за чью-то ногу и упал.

Конечно, когда зажгли свет, ее уже не было. И так легко потеряться, а тут еще тоннелей понастроили...

Домой я возвращался тоже пешком — в кармане не оказалось ни одной монеты.

Я бесшумно открыл дверь, чтобы войти в нашу квартиру, и сразу услышал чужой голос, который довольно громко рассказывал маме какую-то смешную историю. Он, можно сказать, не рассказывал, а декламировал, как диктор телевидения, и мама хохотала, значит, он все же добрался до нас.

Потом я увидел на вешалке его пальто. Я хлопнул дверью посильнее, и смех сразу оборвался, словно эта дверь прищемила ему язык.

Ко мне навстречу вылетела мама. Она была в летнем голубом платье, видно, считала его самым нарядным, хотя оно было и не по сезону.

— А, наконец-то, — сказала мама. — Явление второе: те же и Сократик.

Она зачем-то стала стягивать с меня пальто, точно я сам разучился это делать, потом схватила за руку и хотела тут же втащить в комнату, чтобы представить этому великому герцогу. Но я вырвался и пошел мыть руки. Одним ухом при этом я прислушивался к словам, которые доносились из комнаты. Они там продолжали хихикать, правда, не так громко.

Всему миру было понятно, хотя мама и сказала мне: «А, наконец-то», что в этой комнате смеха третий был лишний. Но я вытер руки и пошел в комнату. Еще неизвестно, кто лишний, может быть, этим третьим окажусь не я, а кое-кто другой...

Он сидел на диване, положив ногу на ногу. Волосы у него были седые, хотя лицо не старое, а нос широкий, придавленный, без переносицы, как у боксера. В общем, он был не красавец, и непонятно было, почему мать влюбилась в него. При моем появлении он вскочил и вытянулся, как солдат перед генералом, по струнке, и протянул мне руку.

— Меня зовут Геннадий Павлович, — отдельно сказал он.

Так обычно разговаривают с маленькими: «А вот это, малыш, кошка. Осторожнее, она царапается».

Я промолчал, решил, что ему моя биография известна уже во всех подробностях. Как меня зовут, когда я родился, когда произнес первое слово и какой я был хорошенький в младенческом возрасте. Так что не к чему распространяться.

— Есть хочешь? — спросила мама.

От волнения она даже заикнулась.

— Нет, — гордо ответил я и прошел к своему столу.

Сел к ним спиной и стал медленно вытаскивать из ящика стола учебники, хотя уроки совсем не хотелось делать. Достал физику и бросил ее с лоту на стол, она треснулась, но не очень. Тогда я достал литературу, поднял ее повыше и шмякнул об стол; она потолще физики и треснулась посильнее.

За моей спиной наступила тишина. Можно было подумать, что они разговаривают по азбуке глухонемых, заранее изучили эту азбуку, чтобы специально разговаривать за моей спиной.

— Сократик, — услышал я наконец голос матери, он донесся до меня откуда-то с другого конца земли. — Мы тебе не будем мешать, если Геннадий Павлович мне немного поддиктует?

— Пожалуйста, — сказал я и шлепнул по столу самым тяжелым учебником — зоологией. Это уже был настоящий взрыв.

Он что-то потихоньку начал читать ей про коров и про удои, про жирность молока и про телят...

Я встал и пошел к телефону, чтобы они не подумали, что мне очень интересны их разговоры. Решил позвонить Ивану, но к телефону подошел какой-то мужчина, видно, сам знаменитый летчик, и пришлось повесить трубку. Тогда я позвонил Ленке Поповой, может быть, она мне скажет что-нибудь об Иване. А может быть, она даже проговорится, что Иван переживал ссору со мной.

Она сама подлетела к телефону и сказала взрослым голосом:

— Да, говорите.

Если бы я ее не знал, эту стриженую штучку, то подумал бы, что ей лет двадцать.

— Привет, — сказал я. — Это я.

— Ты? — Она замолчала, я не хотел ее обманывать, но сразу понял: она приняла меня за Ивана, потому что на всей земле только он один для нее и существовал.

— Я, — ответил я. — Представляешь, мне уже звонил этот балбес Сократик.

Она помолчала, потом сказала:

— Знаешь что, ты из меня дурочку не сделаешь. Я тебя сразу узнала. Нечего меня разыгрывать.

— А я и не думал разыгрывать, — сказал я. — Ну, что там Иван говорил про меня?

— Что ты у меня спрашиваешь? — сказала она. — У него и спроси.

Ах, какая она гордая, уже задается!

В это время я услышал, что мамина машинка перестала стучать, и сказал нарочно громко, почти закричал в трубку:

— Ленка, а ты не знаешь, как по-латыни будет «корова»?

— Чего, чего? — не поняла Ленка. — Ты что, совсем-совсем?...

Не попрощавшись, я повесил трубку, вернулся в комнату и стал ждать, когда он уйдет. По-моему, я довольно ясно высказался, когда спросил у Ленки про корову. Но он сидел, как у себя дома, и не думал уходить.

Мне захотелось есть. Только признаться в этом я боялся, а то еще мама, чего доброго, и его пригласит, и будет у нас такой милый семейный чай и разговоры про погоду, про то, как я учусь, и про то, что наше сельское хозяйство по-прежнему отстает, так сказать, разговор по специальности.

Я посмотрел на учебники, которые валялись на столе, и мне очень захотелось снова поднять их и с треском бросить на стол. Но я все же утерпел: жалко было мать. Чтобы как-то успокоиться, стал перебирать марки. Потом полез в стол и натолкнулся на альбом с фотографиями. Достал его и стал листать.

На первой странице этого альбома фотографии папы и мамы. Папа совсем молодой, на петлицах у него два кубика, два квадратика, эти петлицы и кубики носили еще до войны. А мама на фотографии еще девочка, лет восьми. Под фотографиями рукой отца написано: «1941 год». У нас фотографии в альбоме все по годам разложены. Потом я стал листать дальше и увидел маму постарше и совсем еще не старого деда. Под фотографией стояло: «1943 год».

А потом я увидел ту знаменитую фотографию отца, где он стоит у подбитого фашистского танка. Он улыбается, видно, доволен, но

лицо у него усталое, и глаза усталые, и он небритый. И тут я понял, как мне его не хватает.

Я вытащил фотографию из альбома и кнопками прикрепил к стене, над столом. Пусть висит, пусть я буду его видеть каждый день. И мать пусть его видит. Может быть, тогда она поймет, что поступает как предатель.

Я почувствовал, что этот стоит позади меня. Я так увлекся, что не слышал, как он подошел ко мне. Хотел, видно, что-то сказать, наладить со мной контакт, но натолкнулся глазами на фотографию отца, и пролотил язык. Он долго смотрел на фотографию, а потом сказал:

— «Тигр».

Я промолчал, нечего было мне с ним пускаться в разговоры.

— Немецкий танк марки «Тигр», — сказал он.

Я снова промолчал.

Тогда он наконец понял, что он здесь лишний, попрощался со мной и матерью и ушел. Мы остались одни. И тогда она подошла и включила телевизор, как будто это было сейчас самое нужное. По телевизору показывали мультфильм для маленьких: «Как котенку построили дом».

— Ты что, не хочешь, чтобы Геннадий Павлович к нам приходил? — спросила мама.

Она повернулась ко мне лицом, загородив телевизор, и из-за ее спины кто-то противно мяукал котенком. Настоящий котенок в жизни не будет так орать. Она ждала, что я ей отвечу. Но я промолчал, это и так было понятно.

— Нет, ты ответь мне: почему?

В это время в дверь позвонили. Я открыл. Передо мной стояла Зинка Сулоева. Она и раньше ко мне приходила, и я уже привык к этому, и я к ней иногда заходил, но сейчас я ее совсем не ожидал.

— Добрый вечер, Сократик. (До чего она была вежлива, уму непостижимо.) Можно мне войти? — спросила она.

Я все еще стоял в дверях, загородивая Зинке дорогу. Все еще думал о матери и не совсем понимал, что делал.

— Входи, — сказал я.

Когда она снимала пальто, мимо нас проскочила мама. Зинка даже не успела с ней как следует поздороваться. Закричала свое

«здравствуйте» ей в спину и удивленно, изучающе посмотрела на меня.

— Чрезвычайный и полномочный посланник! — крикнул я почему-то. — Из компании Кулаковых и прочих рекорсменов.

— Ничего подобного, — ответила она. — Я пришла по собственной инициативе.

— Чрезвычайный и полномочный инициатор! — крикнул я.

Я только и делал, что выживал сегодня всех из дома: сначала Геннадия Павловича, теперь Зинку. Даже самому стало противно и захотелось рассказать Зинке и про Ивана, и про мать, чтобы не надо было хотя бы притворяться перед ней, что у меня все просто и замечательно.

— Хватит тебе строить из себя дурачка, — сказала Зинка. — Нам надо выходить на первое место.

— Чрезвычайный и полномочный первоместник! — крикнул я.

— Что с тобой? — спросила Зинка и вышколенным телепатическим движением взяла меня за руку.

— Чрезвычайный и полномочный телепат! — крикнул я.

— Ты что, хочешь, чтобы я ушла? — спросила Зинка.

— Понимаешь, — сказал я, — у меня плохое настроение... Двойка и так далее. Конец света...

— Испуган — наполовину побежден, — сказала Зинка. — Это суворовская заповедь. Тебе полезно ее запомнить.

— Хорошо, запомню, — сказал я.

А потом я немного успокоился, и мы целый час учили историю, и я так ее выучил, что знал про Суворова решительно все. Нарочно вызубрил самую трудную из его поговорок: «Субординация, экзерциция, дисциплина, чистота, опрятность, смелость, бодрость, храбрость, победа, слава, солдаты, слава!»

Правда, что такое субординация и экзерциция, я не знал, но зато я эту поговорку произносил залпом, на одном дыхании, как настоящая заводная Курочка Ряба.

Пока мы учили историю, мать несколько раз входила в комнату, и я чувствовал, что она приготовила целую речь в защиту Геннадия Павловича и только ждет, когда уйдет Зинка.

Но я нарочно пошел провожать Зинку, чтобы не разговаривать с матерью. Всю дорогу Зинка вела себя как-то странно: она шла рядом

со мной и величественно молчала.

Потом она попросила меня, чтобы я понес ее портфельчик. Я взял портфельчик, с портфельчиком лучше, — когда размахиваешь им на ходу, делается веселее.

— Вот у тебя так бывает, — сказала Зинка, — кругом люди, люди, а тебе все равно, а потом появляется один человек... и тебе не все равно?

— Не знаю, — ответил я.

— А у меня бывает, — сказала она. — Вообще к одним людям равнодушна, а к другим... наоборот... К тебе, например...

— Нечего сказать, наоборот... — возмутился я. — На уроке истории меня разыграла.

— Просто я проверяла, как ты ко мне относишься, — сказала Зинка. — Готов ли ты на жертвы... ради других...

Она была какая-то странная, заикалась, не договаривала слов.

— Зачем это тебе? — спросил я.

— Ничего ты не понимаешь, — сказала Зинка. — Ты страшный человек. — Она выхватила у меня портфель и убежала.

А я повернулся и побрел домой, медленно, чтобы не прийти раньше деда. При нем мама не станет разговаривать о Геннадии Павловиче.

Когда я стоял и ждал лифта, то из своих дверей вышла представительница Нина Романовна. Видно, она шла в магазин, потому что чей-то цыплячий голос крикнул из-за двери: «Мамочка, купи мне мороженое за двадцать восемь копеек». Мне совсем не хотелось с ней встречаться, но лифт, как назло, кто-то задержал. Повернулся к ней и вежливо сказал:

— Здравствуйте!

— А, это ты, герой. Добрый вечер! — Она остановилась. — Ну, что же ты думаешь делать дальше?

— Ничего, — ответил я. Лифт освободился, и я нажал кнопку вызова.

— Ничего? — переспросила она и попробовала прикрыть свою дверь, но я увидел, как оттуда кто-то высунул в щель нос облупленного ботинка. — Казя, пусти дверь, ты простудишься.

Казя отпустила дверь, потом незаметно снова открыла ее. Я эту Казю хорошо знаю, она все время гоняет по двору на трехколесном

велосипеде.

— Так ты говоришь: «ничего»? Ты заметил, что вы, ребята, очень любите говорить: «не знаю», «ничего», «за меня не беспокойся» и так далее. На самом деле вы все прекрасно знаете, за вашим «ничего» кроется элементарное упрямство, и с вами все время что-нибудь случается.

Совершенно было ясно, что она никуда не спешит. Опаснее нет таких людей. Тут пришел лифт, и я открыл дверь.

Мало мне было учителей в школе, так теперь на мою бедную голову еще появилась представительница Академии педагогических наук.

— Исправлю двойку, — сказал я.

— Вот видишь, ты же еще и обижаешься. Считаешь, конечно, что с тобой поступили несправедливо, — сказала она. — А ведь ты не знал урока.

Кто-то крикнул сверху, чтобы закрыли дверь лифта, и лифт снова укатил от меня.

— Я правду сказал про Суворова, — возмутился я. — А он ко мне придрался.

— У тебя правда получилась однобокая, — сказала она. — Александр Васильевич Суворов — великий русский полководец и патриот...

В это время Казя высунула свою цыплячью мордочку, увешанную бантами, и пропищала:

— Мамочка, купи мне мороженое за двадцать восемь копеек.

— Подожди, Казя. — Она ждала, что я ей отвечу.

Ловко она меня обошла, я же во всем оказался виноват, хотя каждому дурачку было ясно, что любезнейший Сергей Яковлевич просто придрался ко мне и у меня поэтому отпала охота отвечать урок. А тут получилось, будто я против исторической справедливости.

— Субординация, экзерциция, дисциплина, чистота, отпрятность, смелость, бодрость, храбрость, победа, слава, солдаты, слава! — протараторил я, чтобы отвязаться от нее и показать, как я отлично изучил литературное наследство Суворова.

Казя смотрела на меня и, по-моему, даже забыла про мороженое за двадцать восемь копеек — так ее потрясла суворовская поговорка в моем исполнении.

— Ты что, вообще против Суворова? — спросила ее почтенная мамаша и улыбнулась.

Когда так улыбаются, мне всегда обидно, и тогда я говорю то, что мог бы и не говорить.

— Нет, я не против, — сказал я. — Но мне не хочется, чтобы из него делали Чапаева. Все-таки он был за царя и крепостник.

— Вот как! — сказала она. — Вот ты какой... — и прикусила язык.

Я открыл дверь лифта: разговор был окончен, но она вдруг сказала мне в спину:

— Между прочим, мы с твоей мамой в детстве были подружки. (Я повернулся к ней: интересно было, что она еще произнесет в свое оправдание.) Может быть, по старой памяти возьмешь опеку над моей Казей?

Хотел ей крикнуть: «Спасибо за доверие!» — но не крикнул.

— Пожалуйста, — сказал я и добавил с угрозой: — Мы ее кое-чему научим.

На этом мы разошлись.

Дома мама и дед пили чай и беседовали. Но в тот момент, когда я вошел в комнату, в передней зазвонил телефон. Мама торопливо встала — видно, она боялась, что я опережу ее, — и выскочила из комнаты. Но там, в передней, она почему-то не сняла трубку, и телефон по-прежнему звонил. Потом он замолчал и вновь затрезвонил.

— Юра! — позвала меня мама. — Если это Геннадий Павлович... меня не подзывай... я ушла и вернусь не скоро...

Она скрылась в комнате, а я снял трубку. Конечно, это был он.

— Ее нет дома, — сказал я. — Она вернется не скоро, — и повесил трубку.

— Иди пить чай, — сказала мама.

Она старалась вести себя так, точно все у нас снова пошло по-старому. И тогда я стал ей рассказывать о Нине Романовне. Может быть, ей это интересно, раз они в детстве были подружками.

На следующее утро, в восемь, я уже стоял около дома Кулаковых. Выбрал потайное место, чтобы не бросаться в глаза, и подждал Ивана. Решил перехватить его до школы, чтобы рассказать ему, как я великолепно выучил историю, и помириться с ним.

Только скорее бы он появился и я сделал бы самое трудное и неприятное: подошел бы к нему и произнес первое слово. А потом все пойдет нормально.

Наконец я увидел, что кто-то открывает дверь подъезда Кулаковых, и медленно пошел вперед. Мне хотелось, чтобы Иван догнал меня на ходу и получилось бы, будто мы встретились случайно. Я слышал, как тяжело хлопнула дверь и этот «кто-то» стал догонять меня, тихо напевая себе под нос песенку.

Все было совершенно ясно: позади меня шла сама Тошка Кулакова. Она всегда ходит с песенкой, что-то там мурлычет под нос. Вроде бы очень тихо, но мне с ее песенкой встречаться было ни к чему. И поэтому я прилип к первой газете, которая висела на моем пути.

Шагов ее не было слышно, потому что рядом затарахтел бульдозер, который сгребал мусор на стройке нового дома.

И тут я почувствовал, что кто-то дышит мне прямо в затылок, и не просто дышит, а нахально так, нарочно пускает струю воздуха в шею. Это, конечно, были ее штучки.

— Что нового пишут в газете? — спросила Тошка.

Видно, ей надоело дуть.

— Большое спасибо за обдувание, — сказал я. — А то мне очень жарко.

— Пожалуйста, — сказала она деланным, хриплым голосом. — Всегда рада помочь товарищу. — Тошка сегодня была какая-то другая, волосы у нее были причесаны, как у мальчишки, на пробор.

Я снова отвернулся. Ну что бы ей уйти, раз от нее отвернулись. Ни за что!

— Что нового пишут в газете? — повторила она.

— А ты что, сама разучилась читать? — спросил я.

— Я люблю, — сказала Тошка, — когда мне читают вслух.

— Отстань, — сказал я и выразительно посмотрел на нее.

Ну и характер, никто из наших девчонок не выдерживает моего взгляда, а она даже не моргнула.

— Между прочим, — сказала Тошка, — зря поджидаете. Иван заболел.

— Как — заболел? — не понял я.

— Очень просто. Ты его вчера расстроил, он и заболел.

Она убежала, а я понуро поплелся следом. Но по мере того как я приближался к школе, настроение у меня улучшалось, потому что никто ведь не знал, кроме Тошки, что я не помирился с Иваном. И я вошел в класс, как всегда, и, помахивая портфелем, стараясь изобразить полную беззаботность, направился к своему месту.

Первым на меня налетел Рябов, эта ехидная Курочка Ряба.

— А-а-а... — Он был в восторге от моего появления. — Пришел бывший друг Кулакова.

Ему бы подружиться с Тошкой. Неплохой бы вышел дуэт.

— Бывшая звезда киноэкрана! — крикнул кто-то мне в спину.

— Бывший верный Санчо Панса! — крикнул какой-то грамотей.

И все, кто был в классе, рассмеялись, и я понял, что после месячного величия, до которого меня подняла дружба с Иваном, я снова превратился в самого обыкновенного человека. Но в следующий момент я по привычке скосил глаза на парту Кулаковых и увидел, что Тошки еще не было на месте.

Я развернулся в сторону Рябова и небрежно произнес:

— Кстати, Иван заболел. Я у него вчера весь вечер просидел. С его отцом познакомился, он мне про свои полеты рассказывал.

— Ах, какой верный Санчо Панса, — уже без энтузиазма повторил, как всегда, чужую остроту Рябов.

Но все было поставлено на свое место, и я снова для всех стал ближайшим другом Ивана Кулакова.

Уже целую неделю Иван болел, и я по-прежнему был хозяином положения. Я так ловко устроился, что каждый день выбирал момент, когда его милой сестрички не было в классе, и выкладывал очередную порцию новостей об Иване и о его знаменитом отце.

Для этого я прочел книгу одного летчика-испытателя и теперь всю строчил оттуда историю за историей. Неплохо получалось. Когда я рассказывал, все ребята слушали. Настоящие ведь истории, невыдуманные. Даже этот зубрила и вечный «остряк» Рябов и тот уши развесил.

Врал я без запинки, самому противно было слушать. Только по утрам, когда открывал дверь в класс, у меня на секунду замирало сердце — боялся увидеть рядом с Тошкой ее брата.

В этот день вместе со мной из школы вышел Рябов. Мы прошлись немного вместе, а потом я сказал:

— Ну, я пошел. Мне к Ивану надо.

Рябов как-то помялся, поставил на меня свои круглые, испуганные глаза и попросил:

— Возьми меня к Кулаковым.

— Ты что? — сказал я. — Обалдел... К больному? — повернулся и зашагал своей дорогой.

Так плелся потихоньку и думал о своей жизни, о матери, которая теперь всегда была в плохом настроении и все время смотрела на меня, точно я виновник всех ее неудач. И вдруг в переулке Кулаковых я столкнулся носом к носу с Ленкой и Зиной.

Они преспокойно стояли, точно попали сюда совершенно случайно, и ели мороженое. Меньше всего сейчас мне хотелось встречать этих птичек: Зинку, которая обо всем догадывается, и Ленку-расстригу, из-за которой я потерял, может быть, лучшего друга. Но они так обрадовались, как будто мы расстались не двадцать минут назад, а столетия.

— Ты не к Ивану идешь? — робко прошептала Ленка.

— К Ивану, — ответил я. — А что?

— Передай ему от меня привет, — сказала она.

Только этого не хватало. Еле убежал от Рябова, а теперь они. Как-то надо было от них тоже отделаться, а то еще скажут: мы тебя подождем, ты нам потом расскажешь, как ты передал привет. К Тошке они не лезут, стесняются.

— Романтика, — сказал я.

— Что? — переспросила Ленка.

— Все тайное станет явным, — сказал я.

И вдруг Ленка взвилась и прямо на меня с кулаками.

— Много ты в этом понимаешь! — закричала она. — Чурбан несчастный.

Это было уже оскорбление, это было мне на руку.

— На каждый удар я отвечу двойным ударом. — Я стал в боксерскую стойку.

— Опять дурачишься, — сказала Зинка. — Опять строишь из себя клоуна. Совсем не смешно.

— Приветик и салютик, — сказал я и прошел мимо них.

Пусть они обо мне думают что хотят. Шел и думал, как выкрутиться из этого положения. Если пройти мимо дома Ивана, то они начнут приставать, почему я к нему не зашел. А если войти, там у них лифтерша дотошная: к кому да зачем и еще может по телефону позвонить к Ивану, предупредить его, как министра, что к нему пожаловали.

И тут меня догнала Ленка. Она немного помялась и сказала:

— Так передашь привет?

Зинка стояла поодаль и делала вид, что не прислушивается к нашему разговору.

— Я чурбан, как вы смели только что заметить, который ничего не понимает в романтике, — сказал я. — Она покраснела, так ей и надо, а я продолжал: — У чурбана деревянная голова. Мне трудно будет запомнить твою просьбу.

— Солнце разогрело твою деревянную голову, и в ней зашевелились мысли. — Ленка на ходу начала нашу игру в слова.

Видно, ей здорово нужно было, чтобы я передал Ивану привет, чтобы он услышал о ней, если она на меня не обиделась.

— Солнце разогрело голову, — ответил я, — но в ней зашевелились злые мысли.

— Солнце пригрело посильнее, — сказала Лена, — и злые мысли исчезли.

Теперь она просто ко мне подлизывалась. Вот до чего дошла старушка. Не интересно стало играть. Не люблю, когда другие унижаются. Мне даже стыдно было на нее смотреть, но я все же поднял глаза. Ее лоб пересек тоненький длинный волосок морщинки, от виска к виску.

Ленка начала считать:

— Раз, два, три...

В эту игру я никому не проигрывал, даже самому Ивану. Мне ничего не стоило придумать еще тысячу фраз и победить Ленку. Я, например, мог сказать: «Злые мысли у меня легко исчезают, когда я разговариваю с добрыми людьми», но я промолчал.

— Семь, восемь, девять, десять... Победа! — закричала Ленка. — Проиграл... Значит, передашь привет?

Дом, который был справа от нас, наступил на солнце, и в переулке сразу все изменилось. Морщинка у Ленки на лбу пропала.

— Персональный? — спросил я.

— Можно и персональный, — сказала Ленка. — Даже лучше персональный...

Повернулась и пошла к Зинке. А я стоял и все еще не мог прийти в себя. Выходит, она скучала об Иване и совсем этого не стеснялась. А это не каждый может. Ноги она смешно ставит: след в след, точно идет по веревочке. Точно она циркачка. А я, когда знаю, что мне смотрят в спину, просто не могу шагу шагнуть: нога за ногу цепляется и хочется побыстрее упасть.

Но вот они опянулись и стали смотреть на меня. Теперь их уже не перестоишь. Я бросился в подъезд и стал разыгрывать перед лифтершей дурака: назвал какую-то квартиру, которая была в другом подъезде, стал расспрашивать, на каком она там этаже, но она меня вдруг узнала. Обычно она меня никогда не узнаёт и каждый раз, когда я прихожу к Ивану, выспрашивает всю подноготную, как какой-нибудь следователь по особо секретным делам. А тут узнала и чуть не впихнула в лифт, чтобы я поднялся к Кулаковым. Я от нее еле вырвался и без оглядки побежал вниз по лестнице.

В дверях мы столкнулись носами с Рябовым. Ну и денек сегодня. Все-таки он, видно, решил нанести визит вежливости Ивану.

— Ты что здесь околачиваешься? — спросил я.

— Я? — Он сделал круглые глаза, удивительно, до чего это у него ловко получалось. — Я просто так...

Нет, к Ивану он, кажется, не собирался. Что же он тогда тут делает? Неужели следил за мной? Нечего сказать, благородная Курочка Ряба.

— А если я про тебя Ивану расскажу? — спросил я. — Как ты думаешь, погладит он тебя по головке?

— Честное слово, я просто так...

Он здорово струсил, даже неприятно стало; что-то там лопотал и лебезил передо мной, а потом стал зазывать меня к себе в гости: «Пойдем да пойдем. Я тебе свой новый фотоаппарат покажу». Он так унижался, что я уступил ему и зашел.

Нам открыл дверь его маленький братишка, он продержал нас минут десять. Шумел там за дверью, тархтел, но не открывал. Оказывается, у них в двери вставлен оптический глазок, в него посмотришь и видишь, кто стоит за дверью. Ну, а этот братишка Рябова еще маленький, и, чтобы ему дотянуться до глазка, надо принести стул и взобраться на него.

Наконец он открыл нам дверь. Это был совсем маленький мальчик, с осторожными глазами и с завязанным горлом.

— Хорошо, что ты пришел, — сказал мальчик. — А то я все один, один... — Лицо у него сморщилось, и он вот-вот должен был зареветь.

— Ну, не плачь, не плачь, — сказал Рябов. — Он, понимаешь, болен и целый день один дома.

Рябов вышел из комнаты.

— Тебе что, скучно? — спросил я.

Я пододвинул стул к окну, подхватил мальчишку на руки — он легонький был — и сказал:

— Смотри в окно. Там много интересного: троллейбусы, машины, люди.

Он постоял немного на стуле, потом сказал:

— Пожалуй, я сяду, а то еще упаду. — И он сел.

Я подумал, что когда он подрастет, то будет точно таким, как Рябов.

Но тут вернулся Рябов и начал демонстрировать свой новый фотоаппарат, а потом стал показывать фотографии своей работы. У него были фотографии и отца, и матери, и братишки: штук сто, целая кипа. И на всех у них были одинаковые испуганные, осторожные глаза, просто какое-то испуганное семейство. И вдруг, когда Рябов уже забрал у меня фотографии, откуда-то появился его тихий братишка и сказал:

— Вот очень хорошая фотография, — и протянул ее мне.

Ну, если бы он подсунул мне бомбу, которая должна была взорваться через секунду в моей руке, я бы меньше удивился.

Это была Тошка. Она была как живая: волосы у нее были завязаны конским хвостом и кончик хвоста она держала в зубах. Есть у нее такая привычка.

Вот он почему, оказывается, дежурил возле дома Кулаковых. Его интересовал совсем не Иван, а некто другой, точнее, другая.

Я смотрел на Тошку и не мог оторваться: хорошо она получилась, просто красавица.

— Здорово ты фотографируешь, — сказал я. — Высший класс...

А Рябов застыл, стоял как лунатик. Другой бы на его месте дал подзатыльник своему незадачливому братцу, чтобы в следующий раз не совал нос в чужие дела, но он этого не сделал. Наконец Рябов взял у меня дрожащей рукой фотографию, хотел что-то сказать и захлебнулся в собственных словах. А у меня настроение почему-то совсем испортилось, захотелось побыстрее уйти.

— Пожалуй, мне пора, — сказал я.

— Подожди, — выдавил из себя Рябов. — Я тебе объясню.

— А что тут объяснять, — ответил я.

— Нет, нет, нет! — сказал Рябов. — Ты, наверное, все не так понял. Я ее случайно сфотографировал. — Он на ходу придумывал, как оправдаться. — Мы с Борей гуляли... У меня был аппарат... Вижу, идет Кулакова... Вот я ее и сфотографировал. Она даже не видела... Ты у Бори спроси. Правда, Боря?

Младший Рябов тихонечко стоял рядом: догадался, что подвел брата, и, видно, страдал от этого.

— Правда, — прошептал он.

— Да ладно вам, — сказал я и пошел к выходу.

Рябов семенил следом за мной.

— Ты только никому не говори... Хочешь, я тебе за это что-нибудь подарю...

— Эх ты, Курочка Ряба! — Противно было его слушать.

— Тише, тише, — сказал Рябов. — Боря не знает, что меня так дразнят. — И добавил: — Ты все же никому не говори про это...

А я вдруг спохватился, что даже забыл, как Рябова зовут, Курочка Ряба и Курочка Ряба. Неловко как-то. Что он, не человек, что ли?

— Подумаешь, я сам не лучше тебя, — сказал я. — С Иваном я не помирился, и дома у него не бываю, и отца его никогда не видел. Все врал вам. Так что мы с тобой два сапога пара.

Я не стал ждать, когда он переварит мое историческое сообщение, хлопнул дверь с оптическим глазком и был таков.

Теперь мне оставалось только все рассказать Ивану.

Шел мелкий-мелкий дождь, и не видно было неба, а какая-то серая мгла, и шпиль высотного дома на Смоленской площади пропадал в этой мгле, и даже не видно было красного огонька, который обычно горел на его макушке. Сократик почему-то подумал, что сейчас очень опасно лететь на самолете.

Сократик шел в облаке из мельчайших капель. Ему нравилось так идти, ему было как-то одиноко — приятно и немножко жалко себя. Когда он проходил мимо дома Кулаковых, то из подъезда выскочила Тошка, чуть не сбила его с ног.

Сократик опустил голову, сделал вид, что не заметил ее. Мимо прошли ее туфли, и ее сумка почти коснулась его руки. Он прошел немного и оглянулся, и Тошка оглянулась в этот же миг. Сократик резко повернул голову, но было уже поздно: Тошка засмеялась.

— Ты чего оглянулся? — спросила Тошка.

— Просто так, — ответил Сократик.

— И я просто так, — неожиданно сказала Тошка. — Вижу, идет знакомый, чего-то задумался, глазами сверлит асфальт. Думаю: чего он сверлит? Вот и оглянулась.

Тошка стояла и улыбалась. Небрежно выстукивала каблукком песенку, которая звенела у нее в голове.

У нее всегда в голове звенела какая-нибудь песенка. Иногда это были знаменитые модные песенки, а иногда она придумывала их сама. Веселая была жизнь: то дождь, то снег, то солнце, то зеленая трава, то широкая река, то интересная картина, то мечта про будущее.

Хорошо, что попался этот незадачливый Сократик, — одной неохота идти в магазин. Только бы он не сбежал, а то иногда говорит-говорит, а потом вдруг развернется на сто восемьдесят, и нет его. Ясно, что боится девчонок.

— А ты что, вообще против девчонок? — спросила Тошка.

— Вообще я не против, — промямлил Сократик.

— А в частности?

Это уж было совсем неожиданно. Сократик поднял наконец голову и увидел капли дождя в рыжих волосах Тошки.

— Ты далеко? — Он испугался, что Тошка вдруг исчезнет. Ведь так легко исчезнуть, раствориться в этой серой мгле, как растворился красный огонек на высотном здании.

— В магазин, — сказала Тошка. (Интересно, что он будет делать дальше?) Она все еще выстукивала каблуком эту звонкую, шальную песенку, которая сидела в ней.

— И я иду в магазин, — тихо ответил он, хотя никто его в магазин не посылал. — За хлебом.

Сократику бы надо было добавить: «Давай пойдем вместе, нам по пути», но он промолчал.

Нет, от него не дождешься ничего, только промокнешь. Пора уходить. Тошка перестала выстукивать песенку, веселая жизнь стала чуть-чуть печальнее.

— Пойдем вместе, — вдруг сказала она и сама испугалась собственной смелости. Простое слово «вместе», несчастное наречие, а она испугалась. Вот он сейчас откажется, а завтра расскажет в классе, и ее подымут на смех: мол, к мальчишке пристаешь.

— Пойдем, — как эхо, ответил Сократик.

— Что ты кричишь? — спокойно сказала Тошка. Она уже перестала волноваться, ей стало радостно, легко и смешно. — Я не глухая. — У нее теперь было такое настроение, точно она шла не в магазин за продуктами, а на школьный вечер, где обязательно будут танцы и можно приходиться не в форме.

Отчего у нее было такое настроение, она и сама не знала. А рядом с ней шел Сократик... шел себе, и все, с безразличным видом. У него был курносый нос — это раз, толстые губы — это два... А что, если бы он сейчас взял и положил ей руку на плечо, как ходят взрослые ребята с девушками? Ну, тогда бы она ему показала, какая она веселая...

Они шли рядом, и вроде бы каждый шел отдельно. Иногда он косил на нее незаметно глаза, а иногда ловил ее взгляд. Потом он стал смотреть на витрины: в витринах шли их отражения. Они шли там рядом, гораздо ближе, чем в действительности, и были как-то значительней: выше ростом, представительней. Они шли рядом, то вытягиваясь, то укорачиваясь, плавая в лужах, натываясь на прохожих и сливаясь на какой-то миг с ними, потом снова отрываясь и оставаясь вдвоем на всем свете.

Они блуждали уже больше часа и за все это время не сказали почти ни слова. Они бы могли поговорить побольше об уроке истории, на котором Сократик схватил двойку, и осудить Сергея Яковлевича, могли бы вспомнить Ивана, но они молчали. Шли сосредоточенные и молчаливые. Да и кто сказал, что настоящее веселье — это когда кто-нибудь без умолку трещит языком? Нет, только не Сократик и не Тошка.

— Мне надо позвонить маме, — сказала Тошка и вошла в будку автомата.

Сократик увидел при слабом желтоватом огоньке будки, что у Тошки волосы потемнели от дождя и промокло пальто.

Она стояла, крепко сжав губы, и ждала, когда там, на другом конце провода, снимут трубку, и ей казалось, что она звонит из какого-то другого мира.

— Мама, — сказала она. — Я встретила одного товарища... Из класса.

— Товарища? — спросила мама.

— Товарища, — эхом ответила Тошка.

— Какого товарища? — настойчиво спросила мама.

— Ты его знаешь... Мне неудобно...

Сократик отошел от будки, чтобы Тошке было «удобно».

Тогда она прикрыла дверь и шепнула:

— Сократика, только ты не говори Ивану...

Тошка распахнула дверь автомата и подплыла к Сократику: она готова была продолжать совместное путешествие.

— Что самое ценное в жизни? — вдруг спросил Сократик.

— Человеческая жизнь, — ответила Тошка.

— Неправда, — сказал Сократик. — Сейчас я убью тебя фактом. — Он всех всегда убивал фактами. — Если самое главное человеческая жизнь, то почему иногда люди идут на смерть?

— Например? — спросила Тошка.

— Например? Революционеры, ученые, летчики, космонавты!...
Идея — вот что самое главное в жизни.

— А почему тебя прозвали Сократиком? — спросила Тошка.

— Был такой философ в Древней Греции. Сократ. Я раньше ничего о нем не знал. Честно. А когда умер отец, я перестал разговаривать. Вот даже иногда хотелось что-нибудь сказать, а не мог.

Однажды на уроке меня спросили, почему я все молчу. Тогда Зинка — она пыталась все меня рассмешить — сказала: «Он думает... Он Сократ... У него Сократова голова...» Честно. И с тех пор пошло: Сократик, Сократик... Прибавили наши остряки частицу «ик», потому что я был самый маленький в классе.

Тошка посмотрела на свое плечо, оно было чуточку выше плеча Сократика, ну самую чуточку, но все-таки выше. Потом их плечи вдруг сравнялись, а у Сократика стала какая-то неестественная походка. Тошка догадалась — он шел на носках. Она закусила губу, чтобы не засмеяться, но потом у нее в голове снова зазвенела песенка, и весь смех как рукой сняло. Она чуть-чуть отстала от него, чтобы их плечи не были рядом и чтобы он мог идти нормально, потому что сколько можно идти на носках.

— А ты знаешь, наш Иван все время был ниже меня ростом, — сказала Тошка. — Он за это лето вымахал.

Они вошли наконец в гастроном на Смоленской площади, и Сократик, который не хотел говорить о своем росте и не хотел, чтобы его жалели, сказал:

— Давай выпьем коктейль молочный...

— Можно, — ответила Тошка. — Если ты одолжишь мне деньги, а то у меня ни копейки лишней.

Сократик разжал кулак и показал серебряный рубль, заветный рубль, на который он мечтал приобрести что-нибудь нужное. Например, перочинный ножик, которым удобно было бы вырезать всякие штучки из дерева.

Они встали в вечную очередь к стойке молочных коктейлей среди взрослых девушек и парней и стали слушать, как те громко, не стесняясь, разговаривали, а парни исподтишка покуривали сигареты.

Сократик любил прислушиваться к случайным разговорам, ему нравилось узнавать чужие маленькие тайны, которые неожиданно влетали в него, и он ими жил и подолгу о них думал. Он всегда искал в толпе друзей, или ловил острое словцо, или улыбку, или чье-то хорошее настроение, или принимал чью-то заботу на себя.

Впереди них стояли парень и девушка, худые и долговязые. Парень был в куртке, с рюкзаком за плечом, а девушка в пальто с модным разрезом.

— Вчера встретил Лизу, когда возвращался из института, — сказал парень. — Показал ей это. — Парень поболтал в воздухе пальцем с обручальным кольцом.

— Ну и как она отреагировала? — спросила девушка.

— Говорит: «Вы счастливые сумасшедшие... И, конечно, подонки... Не могли устроить по такому случаю сабантуй?» Я ей сказал: «Денег ни копейки, все ушло на экипировку». Рассказал, что купили байдарку и совершили путешествие... А она говорит: «Мы придем со своим шампанским...»

— В воскресенье, видно, всем классом завалятся, — сказала девушка и посмотрела на Сократика и Тошку.

А те стояли, как мыши, и не знали, что делать, и боялись разговаривать, и девушка перехватила напряженный взгляд Сократика и поняла, что он слышал их разговор.

Она вытянула шею и что-то зашептала на ухо парню, а тот посмотрел на Тошку и Сократика, согласно кивнул головой, а она ему что-то шептала, шептала, а он слушал ее и чуть грустно, чуть мудро, повзрослевше улыбался.

Потом, когда они уже все вчетвером стояли с бледно-розовым коктейлем в стаканах, парень вдруг улыбнулся им и сказал:

— За хороший вечер!

И Тошка ответила:

— Спасибо!

И больше никто ничего не сказал. Они допили свои стаканы, поставили их на стойку и разошлись. Только Сократика стало жалко, что нельзя первого встречного сделать другом на всю жизнь.

Но все же эта случайная встреча изменила их в чем-то: они стали смелее, увереннее. Они громко разговаривали на виду у всех. Тошка командовала Сократиком, посылая его то в одну очередь, то в другую. И Сократик даже признался Тошке, что его никто не посылал в магазин, и от этого им стало еще лучше. Наконец они купили все, что им полагалось, и вышли из гастронома.

Сократик проводил Тошку до самого подъезда.

— Ну иди гуляй дальше, — сказала она, засмеялась и добавила: — Печорин, — повернулась и вбежала в подъезд.

Испарилась, растаяла в дверях.

Сократик еще постоял несколько минут и побежал домой.

Он чувствовал во всем теле необычную легкость. Ему хотелось гулять и гулять, разговаривать с людьми, и тот мир, который только что его огорчал, куда-то отошел, а здесь была эта легкость и ясность. Он вспомнил весь путь, что проделал с Тошкой, и представил, что она по-прежнему идет рядом с ним.

И ему захотелось от непонятной радости разбудить этот сонный переулок.

Сократик открыл дверь и подумал, что сейчас он увидит Тошку. Ему так хотелось после вчерашнего увидеть Тошку, и тут у него что-то заныло в груди и изнутри полыхнуло ему в лицо: он увидел Ивана, который стоял в окружении ребят.

Сократик вошел в класс, и толпа молча расступилась перед ним, и он сразу понял, что все всё знают. Они знают о том, что он, Сократик, ни разу не был у Ивана за время болезни, ни разу в жизни не встречался со знаменитым летчиком Кулаковым и никаких историй от него не слышал.

Все-все смотрели на Сократика. Только Тошка отвернулась, и он видел ее высокий рыжий хохолок на макушке.

— А, Сократ-ик, — сказал наконец Иван, при этом, произнеся частицу «ик», нарочно громко и издевательски икнул. — По совместительству барон Мюнхаузен. Лучше бы двойку по истории исправил, чем заниматься трепотней. — Иван произнес это жестко и решительно, как какой-нибудь диктатор, который привык приказывать и чувствовать себя всегда правым.

Сократик промолчал, не нашелся что ответить, не сумел все обратить в шутку, не сумел захохотать и ловко спрятаться за этим, не сумел просто сказать: «Извини, Иван, я пошутил». Он почти не слышал слов Ивана, а только ощутил их как острую боль, как невероятное унижение, которому не будет конца. Теперь он навсегда потерял друга. Навсегда потерял право быть равным среди всех и навсегда-навсегда потерял тот вечер, который еще накануне сделал его таким необычайно счастливым.

Сократик прошел к своему месту и тихо сел за парту. Он поднял впервые за эти долгие минуты глаза и отыскал в толпе того, кто его предал. Рябов стоял рядом с Иваном. Их глаза встретились, и Рябов тут же отвернулся.

Значит, его предал все-таки Рябов. Ну что ж, это его дело. Он, Сократик, никогда не был и не будет ни предателем, ни доносчиком.

Рябов даже не понял, как это произошло. Просто ему захотелось выслужиться перед Иваном, и он выложил все о Сократике. Теперь же

Рябов больше всего боялся, что Сократик ему ответит тем же и расскажет про фотографию Тошки Кулаковой.

Ночью Сократик неожиданно проснулся, его подбросило на кровати, точно внутри у него что-то взорвалось. Он сразу вспомнил Геннадия Павловича, потом Ивана и еще раз пережил весь ужас их разговора. Потом вспомнил, как после школы шел следом за Тошкой, надеясь, что она его окликнет, но Тошка ни разу не оглянулась. А если бы и оглянулась, разве он смог бы подойти к ней? Нет, он просто ничтожный человек, и правильно Тошка сделала, что не оглянулась, и правильно, что Иван оскорбил его... Все, все правильно, только ему не стало легче от сознания собственного ничтожества.

Ничего хорошего не вспомнишь ночью, когда вот так неожиданно проснешься.

Сократик услышал, что в соседней комнате разговаривают. Это до сих пор не спали мать и дед. Он хотел крикнуть им, чтобы разрубить ночное одиночество, но тут же, конечно, вспомнил, что весь вечер не разговаривал с матерью.

Началось с того, что он зашел в трикотажный магазинчик, чтобы посмотреть на свою новую знакомую. Сократик не видел ее с тех пор, как они потерялись в тоннеле, но оказалось, что она там уже не работает. Он повернулся, чтобы уйти, и увидел Геннадия Павловича, входящего в магазин.

Сократику не хотелось с ним встречаться, и он, чтобы задержаться, спросил имя той девушки. Ему ответили, что Наташа. Тем временем он скосил глаза: Геннадий Павлович стоял у окна и смотрел на улицу.

Ясно было, кого он здесь подстерегал. И это было не в первый раз. Как-то Сократик видел Геннадия Павловича, болтающегося около кинотеатра, который помещался в их доме. Когда тот заметил Сократика, то громким, неестественным голосом стал спрашивать, нет ли у кого лишнего билетика.

Сократик вышел из магазина и нарочно замедлил шаги у витрины. Их глаза встретились, и Геннадий Павлович торопливо отвернулся. «Совсем как Рябов», — подумал Сократик. Конечно, ему стыдно, нехорошо ведь получается. Он здесь, а дома его ждет жена.

Да, да, жена. Сократик узнал о ее существовании в тот вечер, после встречи около кино.

Она пришла к ним домой, и Сократик разговаривал с ней. Она была высокая, круглолицая, похожая на певицу из хора имени Пятницкого. Ее голос до сих пор звучит у него в ушах...

— У вас нет... Геннадия Павловича? — спросила она спокойным голосом. Сократик случайно посмотрел на ее руки и увидел: она прямо разрывала свой платок. Ничего себе спокойная. — А... — начала она.

Но Сократик опередил ее и сказал, что матери нет дома.

— А ты ее сын? — спросила женщина.

Сократик кивнул.

— У нас тоже есть мальчик, твой ровесник. — Она грустно улыбнулась и ушла.

В тот день мать вернулась поздно, но сегодня, как это ни странно, она была дома. Сократик, чтобы опередить ее уход, собрался ей рассказать о той женщине, о «певице» из хора Пятницкого. Пусть знает. Он начал с того, что видел Геннадия Павловича, и заметил, что это известие было для матери неожиданным и взволновало ее. Она минуту поколебалась, потом все же попудрила нос и ушла. Вернулась она скоро и в хорошем настроении, но он после этого весь вечер промолчал...

Сократик стало нестерпимо жалко себя, и он повернулся на другой бок, чтобы заснуть... А дед, как нарочно, говорил громко и мешал ему.

— Ты помнишь его, — долетел до Сократика голос деда. — Он приходил к нам на старую квартиру несколько раз. Сейчас ему под восемьдесят. До революции он работал у купца Мельникова управляющим мыловаренным заводом и занимал весь второй этаж в нашем доме. А в революцию вместе с Мельниковым сбежал на юг, к белым. Только потом Мельников укатил в Париж, а Назаров вернулся. Квартиру его к этому времени разделили на четыре и заселили, и он зашел к нам, поговорил и уехал в неизвестном направлении. Потом он появился перед войной и в последний раз в сорок пятом, когда уже война кончилась.

— Теперь я вспомнила, — услышал Сократик голос матери. — Этот Назаров называл меня барышней.

— Вызывает он меня в больницу... — Голос деда упал до шепота.

Сократик снова задремал, и ему приснилось, будто он идет по Садовому кольцу и замечает на противоположной стороне девушку из трикотажного магазина. Он сложил руки рупором и стал звать ее: «На-та-ша! На-та-ша!» Хорошо получилось, что он узнал ее имя. Но разве возможно перекричать грохот машин. Тогда он бросился к тоннелю, чтобы перехватить ее, однако на противоположной стороне вместо Наташи его ждали Геннадий Павлович и Рябов, который держал в руке фотографию Тошки. И Сократик, вместо того чтобы пробежать мимо них, стал с ними вежливо разговаривать и предлагать им свою дружбу...

И тут он услышал громкий голос деда и забыл про Геннадия Павловича и Рябова.

— Понимаешь, в стене дома, в бывшей квартире Назарова, — сказал дед, — большое богатство... План точный дал. Бойтся, что дом снесут, пока он в больнице. Вот он и взял меня в долю. — Дед хихикнул. — Не было счастья, так несчастье помогло.

— Да ну, отец... Это рассказы для детей, — сказала мать. Она протяжно зевнула. — Спать хочется... Я сегодня устала...

— Ничего ты не понимаешь. Он, когда прятал это богатство в стену, думал — революция на время. Он поэтому и за границу не уехал. А потом боялся этот клад достать, все ждал подходящего времени... Там золото, драгоценности... Эх, заживем, заживем, заживем! — пропел дед. — Отдыхать будем, пить, есть, по курортам разъезжать. На людей будем смотреть с прищуром: хочу — вижу, а хочу — не вижу. Тебя оденем как куколку. Ты заявишься на работу во всем новом, а они там рты откроют... Эх, заживем, заживем, заживем!

— Я куплю себе кожаную коралловую курточку, — сказала мама, — и такие же коралловые туфли на страшном, высоченном гвоздике и маленькую шапочку из соболя... Темно-шоколадного цвета.

— Работу бросишь, — снова пропел дед.

— Я люблю свою работу, — сказала мать. — Я печатаю и каждый день узнаю что-нибудь новое.

— Ерунда все это, ерундистика, — сказал дед. — Узнаешь! А сколько можно узнавать новое? Десять, пятнадцать лет или тридцать? Пока станешь старухой.

— Юрке купим самый дорогой велосипед, — сказала мать. — И магнитофон, как у Ивана Кулакова. — Она тихо и счастливо засмеялась.

В соседней комнате погас свет, и откуда-то из темноты раздался голос отца:

«Значит, все предают тебя и меня, а ты их прощаешь?»

— Я никого не прощаю, — ответил Сократик.

«А Рябова, а Геннадия Павловича?...»

Утром, как только я вскочил с постели, сразу вспомнил про разговор деда и матери о кладе.

На кухне дед торопливо доедал свой завтрак. Он подозрительно быстро куда-то собрался.

— Далеко ли ты собрался? — спросил я между прочим.

— Приятеля надо проведать, — ответил дед. — В больнице. — Дед хлопнул меня по затылку. Он так всегда делал, когда у него было хорошее настроение.

— А что это за друг у тебя появился? — спросил я.

— Назаров... Когда-то вместе жили, — ответил дед. — Одинокий. Надо уважить.

— Назаров? — переспросил я.

Но дед ничего мне не ответил и вышел. Видно, он был занят собственными мыслями.

Ясно, какие были у него мысли.

— Мама, а ты этого Назарова тоже знаешь?

— Знаю. Он когда-то жил в нашем старом доме... А ты почему вчера был такой мрачный? Что у тебя случилось?

Как она ловко переменяла тему разговора. Нет, здесь надо действовать с величайшей осторожностью, а то еще дед на самом деле из-за своей жадности понаделает дел.

— Иван мне рассказывал, что его отец уже пять раз разбивался, а ни за что не бросает своих самолетов. Говорит, ему без самолетов не жить.

— Просто он счастливый человек, — ответила она. — Ему больше всего нужны в жизни самолеты, и они у него есть.

— А тебе что больше всего нужно в жизни? — спросил я.

— Мне? — Мама нажала пальцем на кончик носа, и он стал у нее гармошкой. Она всегда так делает, когда думает. Ногти у нее на пальцах коротко острижены: с длинными, модными ногтями не попечатаешь на машинке. — Не знаю. — Она сказала «не знаю» так, что я почувствовал, что она вот-вот разревется. — Я мечтаю, — она попыталась улыбнуться, — купить тебе велосипед.

— И магнитофон как у Ивана Кулакова? — почти шепотом спросил я.

Она удивленно посмотрела на меня, точно я произнес что-то сверхъестественное, и ничего не ответила.

Я стал собираться в школу, в эту проклятую школу, где меня поджидали одни неприятности.

— Юра, — окликнула она меня.

Я остановился.

— Нет, ничего...

Она хотела сказать мне что-то важное и не решилась. Конечно, она хотела рассказать о затее деда. Я стоял и ждал.

— Понимаешь... — Она помялась и спросила совсем другое, о чем, может быть, и не думала: — Тебе что, не нравится Геннадий Павлович?

— А что в нем хорошего? — сказал я.

— Как ты жестоко судишь о нем, — сказала она. — Хотя совсем не знаешь его.

Это было что-то новое, раньше она его так решительно не защищала.

Я повернулся и молча вышел.

Когда я проходил мимо гастронома, то увидел деда. Он нес в руках мамину хозяйственную сумку. Из сумки торчала бутылка вина. Я остановился, и дед почти налетел на меня.

— Это все Назарову? — Я выразительно посмотрел на сумку, в которой, при ближайшем рассмотрении, увидел пачку печенья и коробку сливочной помадки.

— Ему, — как-то виновато ответил дед, полез в карман, покопался там и протянул мне монету: — На вот тебе, на мороженое, — повернулся и ушел.

Я чуть не упал от неожиданности, чуть не расплакался от восторга: мир не видел подобной доброты! Мой дед жадюга из жадюг, и вдруг так, между прочим отваливает мне полтинник. Дело принимало крутой оборот. Видно, вот-вот этот злополучный клад попадет к нему в руки. И тут у меня настроение резко улучшилось. Не было счастья, так несчастье помогло. Мне стало весело, и я побежал в школу.

Я вбежал в класс и нахально крикнул:

— Приветик!

Я так громко крикнул, что все посмотрели на меня: что это, мол, с ним случилось? При этом я скопил глаза на парту Кулаковых. Иван даже не посмотрел на меня. Ничего, Ванечка, когда ты узнаешь мою тайну, ты на меня посмотришь. Тошка презрительно оглядела меня с ног до головы. И ты, Тошечка, попляшешь вокруг меня.

Я вам всем покажу, и вы все-все узнаете, что я не такой уж пропащий человек.

Я трахнул портфелем по парте так, что Рябов подскочил от неожиданности.

— Ты что, ошалел? — крикнул он мне.

Но ему я ничего не ответил, с ним я просто не разговаривал.

Я тут же решил подойти к Ивану на виду у всех и нашептать ему на ухо про клад. Вот у них у всех вытянутся лица! Но потом передумал, решил до поры подождать, чтобы действовать наверняка. Я уже шел к нему, когда передумал, и поэтому для отвода глаз остановился около Ленки и спросил:

— Ну, как романтика?

Она сделала страшные-страшные глаза и отвернулась от меня. Не желала разговаривать, никто не желал со мной разговаривать из этого знаменитого пятого звена. Они все были очень гордые и принципиальные. Ничего, я завоюю свое место среди них.

Вот так я и досидел до конца уроков и, между прочим, схватил пятерку по истории.

После уроков Сократик, торопливо оглянувшись, свернул в переулок рядом со школой, ибо именно в этом переулке находился бывший дом таинственного Назарова, и этот дом для него был как мина с включенным взрывателем, и если эта мина сработает, может быть, многое изменится в жизни Сократика.

И вот он вошел в этот двор...

Двор был как гигантский колодец или как подземный тоннель: с трех сторон три огромных новых дома крупнопанельной кладки. В глубине двора стоял четвертый, замыкающий дом: осколок старого мира.

Сократик долго и внимательно осматривал этот таинственный дом, щурил глаза, надеясь таким нехитрым образом проникнуть через его стены. Потом, поняв тщетность своей затеи, решил подойти к дому поближе. Он только на минуту задержался, чтобы посмотреть на маленькую девочку, которая выгуливала во дворе крохотную собачку в большом наморднике. Чтобы намордник не спадал, девочка привязала его веревочкой к ошейнику.

— Кусается? — спросил Сократик.

Девочка помолчала, потом ответила:

— Нет, не кусается. Он еще щенок.

— А зачем же ты ему надела намордник? — спросил Сократик.

— Есть важная причина, — сказала девочка.

Она склонилась к собачке и сняла намордник. Собачка завизжала и несколько раз отрывисто, звонко тьякнула.

Сократик подумал, что даже у собаки в этом мире есть неприятности. Потом он подумал: хорошо бы еще о чем-нибудь поговорить с этой парочкой; и тут его осенило, тут на него снизошло вдохновение поиска, и он небрежно, между прочим спросил:

— Ты не знаешь, Назаровы в этом доме не живут? — Все у него внутри напрялось и задрожало, и он даже покраснел, дожидаясь ответа.

— Назаровы? — переспросила девочка. — Там на втором этаже живет Петька, он еще в детсад ходит, с папой и мамой. А внизу

музыкант один. Все остальные уехали. Этот дом сносят. Может, и ваши Назаровы уехали?

— Пойду узнаю, — сказал Сократик. Теперь он знал, что левая сторона дома пустует. — Привет.

— До свидания, — ответила девочка.

Он вошел в подъезд, старый, пахнувший сыростью, с обвалившейся штукатуркой, и посмотрел на дверь с номером два. В этой квартире, по его агентурным данным, проживал музыкант. Потом развернулся и постучал, ради предосторожности, в квартиру, которая должна была пустовать. Никто ему не ответил. Тогда он храбро дернул дверь изо всех сил на себя, и она открылась, а Сократик от усердия чуть не разбил себе нос.

В прихожей на полу валялась сломанная мебель. Сократик осторожно, стараясь передвигаться неслышно, стреляя глазами по сторонам, чтобы не пропустить какой-нибудь важной мелочи для дальнейшего розыска, пригнувшись носом как хорошо тренированная ищейка, подошел к двери в комнату и приоткрыл ее.

Там тоже было пусто и валялась старая, ненужная рухлядь. Что если назаровские богатства находились именно в этой квартире и дед успел их прикарманить? Сократик, уже без всякой осторожности, стал ощупывать стены квартиры, надеясь найти следы дедовского преступления. Но стены и в комнате, и в прихожей, и в кухне были не тронуты.

Он сел на подоконник, чтобы передохнуть, и вспомнил, что именно в этой квартире когда-то жила его мать, и подумал, что, может быть, вот на этой самой половице, на которой он сейчас стоял, не раз стояла она и смотрела в это окно.

Мама ему рассказывала, как отец приходил к ней на свидание. Отец садился в сквере на скамейку, а она гасила в комнате свет и подглядывала в окно. Ей нравилось смотреть, как он ее ждет.

Сократик посмотрел в окно и увидел свою новую знакомую. Около нее крутился ее песик. Сократик поискал глазами скамейку отца и нашел...

На скамейке сидел какой-то человек и читал газету. Но вот он опустил газету, и Сократик узнал в нем своего деда. Сократик отскочил от окна. «Значит, все в порядке, — подумал он. — Значит,

мина еще не взорвалась. Теперь только нужно, чтобы дед раньше времени не догадался, что у него появился соперник».

За стеной заиграли на виолончели. Потом играть перестали, и чей-то мягкий, приятный голос сказал:

— Вы знаете, Михаил Николаевич, она необыкновенная женщина. Во-первых, она талантлива, ей всего двадцать восемь, а она уже заканчивает докторскую диссертацию. Докторскую, понимаете? Первая из всего выпуска. Редкий, редкий человек. Добра, великодушна. Мы с ней вместе учились в школе. Потом я уехал: знаете, глупая мальчишеская фантазия, хотелось побродить по свету. А когда вернулся, она была уже кандидатом наук. Вот мы и поженились. Я пошел учиться в институт, она работала. Я, можно сказать, мужчина в полном здравии, здоровяк, жил за ее счет, и, поверьте, она меня ни разу не упрекнула. Необыкновенная порядочность. Знаете ли, полное отсутствие расчета, эгоизма. Знаете, как многие женщины: «Годы уходят, а у меня даже нет хорошего пальто». Когда у нас родился Петрушка, она ночи просиживала около него, а утром выпьет чашку кофе и на работу. А талант, боже мой, какой талант!

— Нет, не оскудела русская земля талантами и душевной красотой, — раздался из-за стены другой голос. — Не оскудела. Вот смотрю я на вас, Игорь, и душа моя радуется.

— Ну что вы, — сказал тот, который расхваливал свою жену. — При чем тут я? Вот Верочка! Как вы точно заметили, Михаил Николаевич: не оскудела русская земля талантами.

Сократик выпянул в окно, увидел, что дед покинул свой наблюдательный пост, и на цыпочках, чтобы не услышали те двое за стеной, что кто-то чужой случайно подслушал их разговор, вышел.

Остановился и теперь как-то по-новому посмотрел на дом. Маленькие, продолговатые окна, кривой на одну «ногу», в общем, совсем незавидный домишко, а он почему-то думает о нем с нежностью. Вроде ничего такого не произошло: он зашел в какой-то случайный дом, далеко не по собственному желанию, услышал голоса двух незнакомых людей — один из них хвалил необыкновенную Верочку, а второй просто играл на виолончели — и раскис. Даже более того, он поймал себя на мысли, что совсем забыл о назаровском богатстве и размышляет о незнакомых людях, жителях этого дома.

Он медленно прошел через двор, направляясь на улицу, изредка оглядываясь и все по-новому раздумывая о доме и сочиняя длинные истории, неизвестно зачем, про его жителей, как будто он их уже знал и как будто они дорогие для него люди.

Сократик увидел девочку с собачкой. «Кровожадный пес, могучий пес, — прошептал он про себя. — Пес-победитель».

Он подмигнул зачем-то девочке, но она строго посмотрела на него и ничего не ответила.

Она была занята важным делом: наблюдала, как ее пес познавал жизнь, то есть тыкался в каждую щель асфальта и скреб лапами, чтобы добраться до настоящей земли. У каждого человека свое важное дело и свои заботы. Даже у этой букашки-таракашки, у этой девочки, и Сократик это отлично понимал.

— Девочка, — крикнул Сократик, — как тебя зовут? — Он загадал, что ее зовут Тошкой.

— Надя, — ответила девочка.

Ну что ж, Надя так Надя. Теперь она для него будет не какая-то «букашка», а девочка Надя. Надежда.

Прошло еще несколько дней. Сократик совсем одичал, потому что ни с кем толком не разговаривал — ни с ребятами, ни дома. Только один раз Федор Федорович перехватил его в коридоре и стал спрашивать, почему он к нему не заходит. В ответ Сократик заговорщически улыбнулся и сказал, что скоро придет к нему с большой новостью.

Теперь его путь из школы домой всегда проходил переулком, в котором стоял назаровский дом.

Однажды, сидя на скамейке отца, Сократик догадался, чего выжидает дед. Ясно, что тот подстерегал, когда дом опустеет, когда его последних жителей переселят и можно будет спокойно взломать нужную стену и унести богатства. После этого каждый раз с робким сердцем Сократик заглядывал во двор, боясь обнаружить, что занавеси на окнах в доме исчезли, и его жители выехали, и пора вступать с дедом в решительную схватку.

Нет, он не боялся этой схватки, пусть она даже будет жестокой, но он был бы рад, чтобы ее не было. Так же он был бы рад, если бы никогда не было войн. И если бы люди никогда ничего плохого не делали друг другу, и если бы не было, к примеру, вообще денег.

Ах, как Сократик возненавидел эти проклятые деньги! Он теперь из-за них не может как следует с матерью поговорить: все какими-то намеками, полунамеками. И все время подозрительно смотрит на нее и думает: раз она не рассказывает ему про разговор с дедом, значит, рассчитывает на эти богатства.

Неужели ей так нужна какая-то коралловая куртка и шапочка из соболя, что она готова участвовать в этой дедовской истории?

Это дед ее ошелмивал. Он так красиво описал ее будущую жизнь, и у нее голова закружилась. Дед думает, что самое главное — это деньги. А самое главное — это совсем-совсем другое. Самое главное — это прийти туда, где тебя очень ждут, и сделать что-нибудь славное для других, а чтобы самому ничего не нужно было, даже благодарности...

Дед сидел на скамейке и читал, как всегда, газету.

Конспиратор. Великий искатель чужого богатства. Сухопутный пират двадцатого века. Надо будет для него подобрать народные поговорки к случаю: «На чужой каравай рот не разевай» или что-нибудь в этом роде. Эфэфф ведь говорит, что вовремя сказанное слово может спасти человека.

В сквере, во дворе, прогуливала свою собаку девочка Надя. Она увидела Сократика и постаралась попасться ему на глаза. Кто-нибудь ведь должен ей помочь, а этот мальчик был очень вежливый.

— Кит, — крикнула она своему псу, — Кит, ко мне! — Ее голосок был такой нежный и робкий, а Сократик был так занят собственными мыслями, что не услышал ее.

— Что ты здесь высидиваешь? — грубовато и прямо спросил Сократик у деда.

Тот от неожиданности подпрыгнул.

— Вот манера подкрадываться! — возмутился дед. — До сих пор дрожу. Ты же знаешь, я не люблю этого и тебя просил: не делай так. — Теперь дед будет долго и нудно выговаривать Сократика и, может, вообще не ответит на его вопрос. — А ты все нарочно, нарочно... — Голос у деда, у этого мрачного пирата, был скрипучий и тенористый.

— Что ты здесь высидиваешь? — снова спросил Сократик.

Дед поглядел на Сократика, помолчал, потом назидательно ответил:

— Не высидиваю, а вспоминаю. В этом доме я прожил пору расцвета.

— А где ты здесь жил? — спросил Сократик как можно небрежнее.

— Я же тебе сто раз показывал, — сказал дед. — В первом этаже. Вон те три окна слева.

— А кто жил во втором этаже?

— Назаров.

— Тот самый, который сейчас в больнице лежит? — спросил наивный Сократик.

— Тот самый, — ответил дед.

— Ну, занимайся воспоминаниями.

Больше Сократика здесь нечего было делать. Он блистательно провел операцию и теперь знал, что назаровский клад спрятан на

втором этаже, в квартире, где живут необыкновенная Верочка, ее восторженный муж и их сын.

Сократик повернулся и пошел. И впервые за эти дни у него был твердый и упругий шаг, он чувствовал, что победа будет за ним. Он шел к матери, чтобы совершить на нее стремительную атаку, рассказать ей, что он все знает, перетянуть ее на свою сторону, разгромить деда в пух и прах, отыскать назаровские богатства и сделать с ними все, что полагается в таких случаях.

Они будут с матерью не первыми, кто по доброй воле отдает спрятанные старым миром клады, но все равно так приятно было Сократу думать об этом. Вот все удивятся: и Курочка Ряба, и Иван, и сама распрекрасная Тошка, и все ребята, когда узнают, что он совершил.

Когда он шел уже своим двором, не сбавляя скорости и чувствуя радость от каждого сделанного шага и уверенность, что все кончится благополучно, он встретил Нину Романовну с Казей.

Они остановились, поздоровались, и, хотя Сократик бешено торопился, показывая это своим видом, Нина Романовна была не прочь с ним поболтать. И тут в разговор влезла Казя, которая уже несколько раз открывала рот, пытаясь вставить словцо, но Нина Романовна всякий раз перебивала ее.

— Твоя мама стоит в подъезде с каким-то дядей, — единым духом выпалила Казя.

— Ах да, — небрежно сказала Нина Романовна.

Сократик замер, и все у него внутри неприятно сжалось, и он почувствовал, что краска стыда заливает его щеки и уши.

Нина Романовна увидела все это и крепко-крепко сжала Казю за руку, чтобы та не вздумала спрашивать Сократика, почему он покраснел.

— Ну, я пошел, — прошептал Сократик.

Он сделал шаг вперед, но потом сбился с ноги, потому что его хорошие помыслы пропали, его храброе вдохновение остыло, и оглянулся. Нина Романовна с Казей маячили в арке, и он вынужден был сделать еще три мучительных шага вперед в страхе, что вот-вот из-за угла дома появится его мать под ручку с Геннадием Павловичем.

В это время открылись с лязгом двери кино, и горячая толпа хлынула во двор. Мужчины стали чиркать спичками, прикуривая, и

над толпой повис белесый дымок, и Сократик, смешавшись с этой толпой, с ее дыханием и дымом, толкаясь о плечи незнакомых людей, видя близко их смеющиеся лица, потому что они только что побывали в каком-то незнакомом для них мире и стали чем-то добрее и восторженнее, вышел вместе с ними снова на улицу.

Он перешел на противоположную сторону Арбата и затаился. Решил ждать, твердо решил дождаться его, хотя это было тяжело и стыдно.

Он видел, как прошел маленький толстый мужчина в берете и коротеньком пальто, который тоже жил в их подъезде. Это был «всемирно известный» учитель танцев. Он был учителем танцев на телевидении, и поэтому его знали все. А теперь он торопливо шел домой и, значит, увидит мать.

Потом прошла девушка — она жила этажом выше Сократика — с пареньком. Ее часто провожал этот паренек, и они подолгу стояли в подъезде около лифта. А сейчас ее место, может быть, заняла мать с Геннадием Павловичем.

Ему хотелось, чтобы его мама была гордой и необыкновенной, и еще полчаса назад Сократика казалось, что это почти так и есть. Вот только он должен был рассказать ей все о кладе — она ведь не жадная и честная, — и они снова будут понимать друг друга без слов. А теперь Сократик в который раз вспоминал эту женщину, эту «певицу». Ну что ж, он все равно не позволит, чтобы другим было плохо даже из-за матери.

И вот тут-то Сократик увидел его, мирно шагающего по двору. Он видел его сквозь длинный тоннель арки, как в перископ подводной лодки, и уже отдал приказ носовой батарее: «Товсь!», и уже готов был крикнуть: «Залп!», то есть он был готов подойти к этому гражданину, хлопнуть его по плечу и выложить ему все, что он думает об этой истории.

Он ему скажет ясно и просто: мол, вместо того чтобы ходить по чужим дворам, купили бы своему сыну или дочери игрушку и шли бы домой. Эти золотые, святые, наивные слова готовы были сорваться, слететь с губ Сократика и криком долететь через улицу к Геннадию Павловичу.

Сократик весь сжался, чтобы сделать этот первый решительный шаг, чтобы легко и беззаботно, именно беззаботно и легко, похлопать

этого человека по плечу. Но в следующий момент ему нестерпимо захотелось убежать.

А когда-то, совсем недавно, Сократика ничего не стоило подойти к любому человеку и открыться ему до конца. Он жил, как чувствовал, и думал, что так живут все. Иногда над ним даже смеялись и называли лопухом и простофилей. Но за последнее время откровенность стала покидать его. Сначала это произошло после смерти отца: тогда он долгими ночами вспоминал отца и скрывал от матери, чтобы не беспокоить. Потом его скандалы с дедом. Раньше он все обиды выкладывал матери и тут же забывал их горький вкус. А теперь, когда Сократик ссорился с дедом и тот его крепко обижал и обзывал блаженным, он помалкивал и страдал втихомолку. И поэтому, когда Геннадий Павлович появился рядом с Сократиком, он, вместо того чтобы смело хлопнуть его по плечу, низко опустив голову, прошел мимо.

Геннадий Павлович заметил его, дружелюбно улыбнулся и сказал:

— А-а-а! Здравствуй, любитель латыни. — Может быть, ему понравилась собственная острота, а может быть, он просто хотел скрыть свою робость перед этим мальчишкой, но он снова улыбнулся.

Сократик кивнул в ответ.

— Из школы? — спросил Геннадий Павлович.

Сократик снова едва заметно кивнул.

— Молчишь, не желаешь разговаривать? — спросил Геннадий Павлович.

Сократик ничего не ответил, повернулся и медленно стал уходить. Он чувствовал на себе взгляд Геннадия Павловича, но не оглянулся. Он сейчас думал не о нем, а о себе и поэтому не оглянулся.

Теперь рано темнело — октябрь. И небо было как полотенце из сурового полотна и сливалось с серым асфальтом, и казалось, что дворники скребли своими метлами прямо по небу, и бедный, несчастный Сократик в своем форменном сером костюме совсем растворился в этом скучном сером небе и сером асфальте.

Геннадий Павлович с тоской посмотрел вслед Сократика и подумал о Гале, о матери этого Сократика, с которой только что расстался и оставил ее веселой, а сейчас придет он, ее сын, и все испортит. Он уже собрался подойти, чтобы все ему высказать, и хотел

крикнуть: «Подожди!», но испугался. Он, прошедший всю войну, испугался этого молчаливого, сосредоточенного, непонятно о чем думающего паренька.

Он пришел домой с большим опозданием, но Галя даже не спросила, где он пропадал. У нее было хорошее настроение, и как только хлопнула дверь, она выскочила встречать сына. Сократик раздевался в темноте, но она зажгла свет, посмотрела на него веселыми глазами, пахнула духами и сказала:

— А, Гвоздик, пришел? А отчего мы такие серьезные? Какие грозовые тучи пронеслись над нами? — Иногда она любила делать из Сократика маленького, ну точно ему лет пять или шесть. — Нельзя надувать губы, — и провела пальцем по губам Сократика, как по струнам какой-нибудь гитары. — А то еще грузовик зацепится за них и разобьется.

— Есть охота, — мрачно сказал Сократик, стараясь не смотреть матери в глаза.

Галя убежала на кухню готовить для себя и для сына еду, а Сократик остался в комнате и думал о своем.

Он слагал в голове фразы, такие хитрые фразы, которые бы одновременно ничего не говорили, но в то же время на многое намекали. Он придумал два десятка ловких, жестоких фраз, пока мать готовила обед.

Сначала Сократик придумал такую фразу: «Что это ты сегодня очень веселая, не по погоде?» Потом такую: «Чем-то ужасным пахнет! Ах, это от тебя? А откуда у тебя духи?» А потом он придумал самую жестокую фразу: «Тебя кое-кто провожал сегодня, а у него дома жена и, может быть, пятеро ребят...»

Вот сколько хитрых и жестоких фраз было наготове у Сократика, и он, как судья, сидел и ждал мать, чтобы привести свой приговор в исполнение.

Они ели всего лишь тыквенную вчерашнюю кашу и поджаренную докторскую колбасу, но Гале и эта еда сегодня казалась невообразимо вкусной после прогулки по шумным улицам, и еще ей очень хотелось, чтобы и Сократикау стало весело, и еще ей очень-очень хотелось рассказать сыну о человеке, который ее сегодня провожал домой. О том, какой он умный и добрый, и о том, что он

похож на него, на Сократика: также любит кино и самое дешевое мороженое.

— Я сегодня видела...

Мать остановилась, и Сократик замер. Этот жестокий палач, только без красной мантии, готовый пригвоздить еще десять минут назад свою мать к позорному столбу, испугался и уткнулся в тарелку. А она залилась краской: щеки, уши, шея. Она покраснела не как женщина, мимоходом, а как девчонка-семиклассница, о тайнах которой узнали все в классе. Галя стала натуженно кашлять, закрыв лицо руками, точно подавилась кашей. Наконец откашлялась и сказала:

— Представляешь, я сегодня утром видела космонавта Феоктистова. Тоже спешил на работу, вроде меня.

Сократик собрал посуду и пошел на кухню ее мыть. Это была его обязанность, и он ею не тяготился. Если космонавт Феоктистов, как все прочие, торопится по утрам на работу, а знаменитый летчик-испытатель Кулаков сам готовит обед по выходным дням, то и Сократик может вымыть после обеда две тарелки и несколько ножей и вилок. В конце концов, как любит повторять Эфэф, от малого до великого один шаг.

Он мыл посуду и думал. Руки его скользили по тарелкам и делали их чистыми и шелковистыми, и думал, думал, и тер, тер, тер одну тарелку, точно хотел протереть в ней дыру. И потом он подумал, что было бы хорошо, если бы все Садовое кольцо накрыл тоннель, и все машины ходили бы по тому тоннелю, а сверху был бы гигантский парк, по которому можно было идти весь день. А каждую ночь в тоннель привозили бы пушки, и они стреляли бы сжатым воздухом и выбивали из тоннеля скопившиеся за день остатки бензина и машинного масла.

В кухню вошла Галя. Она взяла полотенце и стала вытирать посуду, которую Сократик уже вымыл. Она была чуть выше Сократика, и его плечо в работе все время терлось о руку матери. Он даже чувствует тепло этой руки. Но по-прежнему молчит, хотя уже понимает, что хорошее настроение постепенно покидает мать. И она уже стала печальной, чтобы потом совсем раскиснуть, и понимает, что Сократик не хочет слышать о ее радостях, потому что для него это

совсем не радости, и она уже не откидывает резко назад волосы, и волосы упали ей на лицо и закрыли лоб и щеки.

Галя еще цепляется за разговор с сыном, стараясь наладить отношения. Ей обязательно надо поговорить с ним о Геннадии Павловиче, но пока она говорит первое, что пришло ей в голову, что не имеет никакого отношения к этому, к главному.

— Сегодня утром я разбиралась в письменном столе — решила освободить для тебя еще один ящик — и нашла свое старое письмо, которое я написала деду двадцать семь лет назад... И там написано: «Крепко поцелуй за меня кошку и прочитай мое письмо кукле. Твоя дочка Галя». А когда мы вернулись из деревни с мамой, оказалось, что кошки уже давно нет. Дед ее выпустил нарочно.

— Это похоже на него, — сказал Сократик, вспомнив, как каждый вечер дед кружился вокруг великой ценности века — телевизора.

— Над нашей дверью надо повесить объявление: «Здесь помещается филиал общества по охране животных».

Они оба, Сократик и Галя, резко повернулись и увидели деда.

Он стоял, облокотившись о дверь: какой-то угрюмо веселый, со впалыми глазами, он был похож на одержимого. Так показалось подозрительному Сократику.

— Нужно быть добрым, — сказала Галя.

— Ерунда, — сказал дед. — Не тому ты учишь Юрия. И в результате ему в жизни придется так же тяжело, как тебе.

— Это нам тяжело в жизни? — искренне удивился Сократик. — Я не считаю, что тяжело.

— Ты не считаешь? А ты ее спроси, — сказал со злостью и тайной радостью дед. Он был рад этому разговору — это была его тема. Тут он был силен и мог в одну секунду расправиться с этим сопливым мальчишкой, который всегда все знает и суется не в свои дела. — Ты спроси, спроси ее!

Сократик посмотрел на мать, ему хотелось, чтобы она поддержала его. Но она не подняла головы.

Ей сейчас было жалко себя, и слова деда упали на благодатную почву. Она подумала о Геннадии Павловиче, о человеке, который мог бы быть настоящим другом Сократику, но, видно, пройдет еще много

дней, прежде чем ее сын поймет, что он не прав, не желая ничего даже слышать о Геннадии Павловиче.

Галя стояла, облокотившись руками на подоконник, и с любопытством смотрела, как хорошо знакомая ей женщина из соседнего подъезда выкатывала коляску с ребенком. А ведь она даже не заметила, как эта женщина выросла. Галя только помнила, что совсем недавно, ну будто месяц назад, она была девчонкой и гоняла на велосипеде по двору.

— Думаешь, для нее великое удовольствие с утра до вечера работать: тархтеть на машинке, готовить обед, стирать, убирать в квартире, ходить в магазин, и больше ничего. Думаешь, это для нее такое великое счастье? Ты, например, играешь в футбол для удовольствия, ходишь к товарищам для удовольствия, едешь летом в лагерь для удовольствия! А у нее ведь ничего этого нет. Ни любви, ни удовольствия, ни отдыха. Один долг перед тобой.

Старушки, которые сидели на скамейке во дворе, окружили коляску, чтобы рассмотреть ребенка, и Галя улыбнулась, потому что вспомнила, как вроде бы тоже совсем недавно она впервые выкатила своего Юрика во двор, и эти же самые старушки вот так же окружили ее. Она, продолжая улыбаться, повернулась лицом к Сократуку, и он перехватил ее улыбку и сказал деду:

— А мама любит свою работу.

— Ерунда, — возразил дед. — Это ей так кажется.

— Нет, не кажется, — сказала Галя.

— Значит, ты хочешь мне доказать, что ты только и мечтаешь, чтобы постучать на машинке? — спросил дед и, не дождавшись ответа, добавил: — И так без конца... Понимаешь, надежды-то у нее никакой нет...

Сократик догадался, что идет хитрый разговор: не для него, а для матери. Дед хотел внушить ей, что она очень несчастная. А Эфэф ему столько раз говорил, что настоящее счастье, когда хорошо всем: тебе и всем! А дед делал мать несчастной нарочно, чтобы ей трудно было отказаться от назаровских богатств. Вот чего хотел дед!

— Я сам могу убирать квартиру, — сказал Сократик. — И в магазин могу ходить. А обед можно брать в столовой. У мамы тогда будет больше свободного времени...

— А на какие шиши, позвольте вас спросить? — ловко ввернул дед.

И Сократик, припертый к стене доводами деда, понял, что наступило время борьбы, что не будет больше отсрочки и детской игры, что надо бороться за мать, за себя и даже за деда.

— Вот построим коммунизм, — сказал Сократик, — и тогда все будет по-другому...

— А, запел старую песню... Когда его построят... твой коммунизм? — И дед, упоенный победой, убежденный в своей правоте, с горящими глазами, уже не разбирая, что перед ним мальчишка, решил за компанию подцепить его покойного папашу, нанес Сократика последний, самый решительный удар: — Твой отец тоже был агитатор, а между прочим, ни копейки, ни полкопейки не оставил вам на черный день.

— Замолчи, отец, — сказала Галя. — Это не твое дело.

Она видела, как Сократик побледнел, точно его вдруг неожиданно ударили по лицу, как он круто повернулся и вышел из кухни.

— Ну ладно, ладно, замолкаю. — Дед хотел обнять внука, когда тот проходил мимо него, но Сократик вырвался.

В передней Сократик увидел какой-то сверток. Он нагнулся и надорвал бумагу: в свертке была большая электрическая дрель. Ясно: дед начал подготовку всерьез.

Сильная, быстрая электрическая дрель, она, как хороший отбойный молоток, в одну секунду прошьет стену старого дома и доберется до назаровского богатства.

Он выскочил из дому, чтобы позвонить Ивану. Больше Сократик не мог выжидать и раздумывать и носить эту тайну в себе. Он позвонил ему и, когда к телефону подскочила Тошка, нисколько не испугался и позвал Ивана. А та, узнав Сократика, презрительно фыркнула и бросила трубку.

«Ничего, ничего, — подумал Сократик. — Завтра все зазвучит по-другому, на новой волне». А когда он услышал голос Ивана, то попросил его немедленно выйти. Наступил момент, когда он почувствовал себя равным Ивану. И поэтому он разговаривал с ним решительно и сурово, и уже через десять минут Иван стоял рядом с ним.

Сократик рассказал Ивану все: и про назаровские богатства, и про то, что дед купил электрическую дрель для того, чтобы взломать стену, и как бы он их не опередил.

А потом они вместе пошли к этому дому и в сумерках долго бродили вокруг него, и на душе у Сократика, несмотря на волнение, было хорошо и радостно, потому что рядом с ним ходил сам Иван.

Иногда Иван опускал ему на плечо руку, и так они кружили вокруг дома и придумывали, как им все сделать лучше, и уже переживали восторг победы. Иван стал таким добрым и великодушным, что простил Сократика его глупое хвастовство и выдумки про Кулакова-старшего и сказал, что он обязательно познакомит Сократика с отцом.

И потом Иван решил, что им совершенно незачем соревноваться с дедом и ловить момент, когда последние жильцы покинут этот дом. Совершенно незачем, а просто они завтра вместе с ребятами придут сюда и объяснят все этой Верочке и ее мужу, и те, конечно, все им разрешат, это же государственное и справедливое дело. Они взломают стену, возьмут клад и отнесут его в банк. Так делают все. Иван однажды читал в газете, как один бульдозерист, разрушая старый дом, тоже в стене нашел клад и сдал в банк.

Им обоим так понравилось это простое и ясное решение, что они готовы были прямо сию секунду приступить к делу.

Когда на следующий день Сократик вошел в класс, то все ребята, как один, поднялись ему навстречу. Он не ожидал, что Иван всем раскроет их тайну, и в первый момент растерялся. Но Иван ему улыбнулся и сказал:

— А, пускай все знают, дом-то они без нас не найдут. Дом мы знаем только вдвоем с тобой.

Тошка в упор посмотрела на Сократика. Это тоже уже было что-то новое. Она впервые посмотрела на него за эти дни. Вообще это было настоящее торжество, какой-то праздник, которому не было конца. На Сократика даже приходили смотреть из других классов, то и дело открывалась дверь и просовывалась чья-нибудь любопытная голова.

А после уроков его догнал Борис Капустин и спросил:

— Это правда?

— Правда, — вместо Сократика ответил Иван. — Завтра в девять. Придешь?

— А как же, — ответил Капустин.

Во всей этой истории, в этом ее стремительном разбеге Сократика беспокоило только то, что он ничего еще не сказал матери и деду. Теперь, когда об этом знали все, когда это перестало быть его тайной, ему было мучительно оттого, что он не поговорил с ними и тем самым сразу записал их в свои противники. А может быть, если бы он поговорил с ними, они согласились бы, что он прав.

Это томило его весь вечер, мешало ночью спать, и он решил открыться им, прежде чем уйдет утром к ребятам.

Мать сидела на кухне и печатала — она печатала быстро и ловко, — а на ушах у нее были надеты наушники от шума, который мешал ей работать. Дед пил чай и слушал радио.

Мать улыбнулась Сократике и спросила:

— Что тебе в воскресенье не спится?

— Надо, — ответил Сократик и от сильного волнения добавил почти шепотом: — Я иду за кладом.

Мать снова улыбнулась, и Сократик догадался, что она ничего не слышала сквозь свои наушники, а дед почему-то к его словам отнесся спокойно. Такая, значит, у него была выдержка.

— За кладом, за каким еще кладом? Романтик. — Дед глубокомысленно вздохнул. — Подрастешь, оценишь все по-новому: и людей и события. Сердце зачерствеет, чужая боль останется в стороне, а будет волновать только то, что рядом, что твое. Вот это будет волновать: свои дела, свои дети, своя квартира, может быть, своя работа.

Слова деда впивались в Сократика, как иглы: «сердце зачерствеет» — одна игла; «чужая боль останется в стороне» — вторая. Ну, а как же тогда все те люди, которые из-за других бросаются под поезда или в огонь? Как тогда врачи сами делают себе прививки, испытывая новые лекарства? Как же тогда они?

— Неправда, — сказал Сократик. — Не могут все люди быть плохими. Не могут.

— А разве это плохие люди, которые думают о себе? — сказал дед. — Ты, например, думаешь о матери и о себе. Мать думает о тебе и обо мне.

— А кто же тогда плохие люди? — спросил Сократик с вызовом.

— Воры, бандиты, предатели, — сказал дед.

— И все?

Дед встал и повернулся, чтобы уйти. У него была широкая, совсем не стариковская спина, и Сократик вдруг показалось, что дед стоит уже там, у стены с кладом, вертит своей дрелью.

Сократик был готов, чтобы нанести главный удар, который должен был остановить монотонный стук машинки, заставить вскочить маму, которая сидела, запечатав уши, и они с дедом были для нее как актеры из немого кино.

— А доставать чужие деньги из стен старых домов и присваивать себе — это что же, хорошо или плохо? — закричал Сократик.

Он так сильно крикнул, что даже мать услышала. Она перестала печатать, сняла наушники и повернулась к нему.

— Я все слышал, — сказал Сократик. — Ночью проснулся и все слышал.

— Что ты слышал? — спросила Галя.

— Все... И как дед рассказывал про Назарова, и про его клад, и про то, что вы хотите оставить его себе... — Он сжался и готов был ко всему: к отчаянному крику, к драке и к радости, если они признаются ему во всем.

— Про Назарова мы разговаривали, это правда, — сказала Галя. — А про клад... Первый раз слышу...

— Мечтательно, — сказал дед. — Что тебе еще приснилось?

— Не притворяйтесь, не притворяйтесь, — закричал Сократик, — я все знаю!...

— Ты не заболел? — Галя подошла к сыну, таким возбужденным он никогда раньше не был.

— Я все слышал, попятно? Все!... У вас ничего не получится!...

— Юра, даю тебе честное слово, — сказала она. — Клянусь тебе, что этого ничего нет... Успокойся... — Она села рядом с ним. — У тебя и раньше так иногда бывало, когда ты был поменьше. Тебе что-нибудь приснится ночью, а ты считаешь, что это было на самом деле. Ну-ка, садись к столу и выпей чаю.

Он вяло, нехотя выпил чай, еще до конца не сознавая, что произошло, и вернулся в комнату. Но когда он остался один, то вдруг разревелся, как девчонка. Потом стал торопливо, дрожащими руками перебирать вещи, потому что решил немедленно уехать. А что же ему еще оставалось?

Он услышал шаги матери и задвинул ящик своего стола.

— Ты далеко собрался? — спросила Галя и подозрительно оглядела сына.

— К ребятам, — соврал он, стараясь не смотреть ей в глаза.

— А ты никому не рассказал об этом... твоём кладе?

— Нет.

— Но как ты мог о нас подумать такое? — спросила Галя, но увидела лицо Сократика и сказала: — Ну ладно, иди погуляй, потом об этом поговорим... Нам вообще о многом надо поговорить.

Сократик в последний раз оглядел комнату, посмотрел на фотографию отца, мельком перехватил беспокойный взгляд матери, быстро оделся и вышел на улицу.

У него теперь было только одно желание: исчезнуть куда-нибудь, пропасть, чтобы навсегда все забыли, что есть на свете Сократик.

На улице Сократик спохватился, что у него нет денег, а без денег куда уедешь?

Он уже готов был вернуться, броситься к матери и рассказать ей все и умолить ее сегодня же уехать из Москвы, сию же секунду уехать. Но все же он не пошел домой, потому что понимал, что мать и дед начнут его успокаивать и отговаривать и объяснять ему, что так делать нельзя. Что есть работа, и ее не бросишь, что есть квартира, и ее тоже не бросишь. Но сейчас Сократик не мог всего этого понять, для него сейчас было важно только одно: скрыться, пропасть, не видеть больше никогда ребят из своего класса.

И тогда он пришел к Федору Федоровичу. Ему долго не открывали, а потом наконец перед ним появился заспанный Федор Федорович, удивленно посмотрел на Сократика, пропустил без слов в комнату и сказал просто:

— Ну, выкладывай.

Ему было нелегко рассказать эту дурацкую историю про клад. И поэтому он начал рассказывать про все, про всю свою жизнь: про мать, и про деда, и про Геннадия Павловича, который мешал им жить. Про то, как он любил Ивана, и про урок истории, и про Тошку, и про то, как он мечтал помириться с Иваном, и тут ему приснился этот сон, и как Иван обрадовался, и как весь класс восхищался им, и как было понятно это...

— Куда же ты теперь? — спросил Федор Федорович.

— Поближе к полюсу, — ответил Сократик. — Если вы мне еще верите, одолжите денег. Я, как заработаю, сразу верну.

— Я тебе верю, — сказал Федор Федорович. — А другие что о тебе подумают?

Сократик промолчал, ему было теперь уже все равно, что о нем думают. И Федор Федорович понял его состояние.

— Значит, твердо решил уехать? — спросил Федор Федорович.

— Да, — ответил Сократик.

— А мать?

— Я ей не очень нужен.

— Ну что ж, беги... Дезертируй! — Он прямо кричал. — Не ожидал я, что ты струсишь...

И даже это Сократик выдержал.

— Если не хотите давать денег, то не надо, — сказал Сократик. Он встал, чтобы уйти.

— А это ты видел? — Федор Федорович повернулся к нему спиной и рывком сорвал с себя рубаху. И Сократик увидел исхлестанную шрамами спину Федора Федоровича. — Из лоскутков сшили. — Он надел рубаху. — Я ведь летчиком был. Для меня самое главное в жизни было небо и самолеты. А мне сказали, что я отлетался. Три года я провалялся в постели. Врачи думали, не встану, а я встал... Думаешь, мне было тогда легче, чем тебе сейчас? Ты пойми, человека украшает не только сила и победа, но и признание собственного поражения. А вот бегство и трусость еще никого не спасали. — Он говорил ему жесткие слова, но как-то надо было пробиться сквозь эту стенку молчания. — Ты сейчас пойдешь к ребятам и все им объяснишь. Ну, иди, иди.

И Сократик ушел.

А Федор Федорович подошел к окну, чтобы посмотреть ему вслед. Может быть, он зря его отпустил одного? Но он мечтал, чтобы его ученики выросли нетерпимыми, исступленно-нетерпимыми ко лжи и добрыми к человеку. И ему казалось, что из этого Юрия Палеолога должен получиться именно такой человек. И поэтому сегодняшний путь он должен проделать один.

Нет, он не сбежит, этот Сократик. Иначе ведь не стоило бы столько страдать те три года, иначе не стоило бы приходить в эту школу...

Сократик шел, вобрав голову в плечи. Сверху, с десятого этажа, он казался совсем маленьким...

Во дворе назаровского дома собралась толпа ребят. Они суетились, разговаривали, толкали друг друга. И все люди, которые выходили из разных подъездов, непременно оглядывались на них, а многие даже подходили и спрашивали, зачем они здесь собрались. Но те, конечно, хранили тайну.

Когда Сократик увидел эту рокочущую толпу, он в испуге замер в воротах. Ему захотелось повернуться назад и исчезнуть. Однако ребята заметили его и бросились к нему навстречу. Он приготовился сразу же ошарашить их своей новостью и выхватил из общей толпы бегущих радостное лицо Ивана Кулакова, чтобы ему первому рассказать обо всем. Но ребята окружили его, начали доверительно хлопать по плечу, здороваясь за руку, стараясь выказать ему этим наивысшее расположение. И Сократик никак не мог произнести свои страшные слова. Как, как он мог произнести их среди этого всеобщего восторга!

Потом Борис Капустин растолкал ребят, взял Сократика за руку и поставил к стене. И он теперь в полном одиночестве стоял на фоне белой стены — высокой-высокой. Это была боковая стена девятиэтажного дома, она была совсем белая-белая, и только маленьким черным пятнышком на ней торчал Сократик.

Капустин тем временем наводил на него фотоаппарат, чтобы сфотографировать для школьной стенгазеты. А ребята с восторгом смотрели на Сократика, и прохожие тоже оглядывались, стараясь понять, чем отличился этот парнишка, этот жалкий, какой-то растерянный парнишка. Может быть, он чемпион города по плаванию, или знаменитый школьный футболист, или, еще лучше, спас кому-нибудь жизнь?

Сократик стоял между тем перед глазком фотообъектива, как перед дулом винтовки, которая вот-вот должна была брызнуть в него снопом справедливого огня. И ему казалось, что он сейчас упадет. Он несколько раз пытался открыть рот, чтобы крикнуть всю правду, но каждый раз предостерегающий знак Бориса Капустина останавливал его.

Наконец Капустин опустил аппарат, но тут рядом с Сократиком вырос Иван. И Капустин снова приставил аппарат к глазу, чтобы сфотографировать их вдвоем.

А потом Сократика окружило все пятое звено, и девчонки, прежде чем сфотографироваться, по очереди посмотрелись в маленькое зеркальце, которое вытащила из кармана Тошка.

Затем на Сократика набросились все остальные, они разместились у его ног, сбоку, влезли друг на друга и появились над его головой. А в самом центре, как какая-нибудь выдающаяся личность, стоял вконец растерзанный, несчастный Сократик.

— Все, — сказал Борис. — А то на потом не хватит пленки.

После этого Сократик в плотном кольце ребят направился к злополучному дому. Около подъезда он остановился и сказал, что сразу всем нельзя, что пусть с ним пойдут вначале Борис и Иван. И они трое скрылись в подъезде.

Единственно, что Сократика хотелось сейчас сделать, — это побыстрее выложить всю правду, и гора с плеч.

— Ну вот, — тяжело сказал Сократик и посмотрел куда-то в сторону, мимо носов своих спутников.

— Что «ну вот»? — спросил Иван.

— Ребята, нельзя ли побыстрее, — сказал Борис. — Я спешу...

— А то... — сказал Сократик. — Никакого клада нет. Мне все приснилось.

— Ты шутишь, — сказал Иван. — Пошли. Ладно тянуть время.

— Я правду говорю. — Сократик сказал это так решительно и твердо и стал к Ивану лицом, точно хотел, чтобы тот его ударил.

— Значит, ты просто решил над нами посмеяться? — угрожающе сказал Иван.

— Я же тебе говорю, мне все это приснилось, — снова сказал Сократик.

— А почему ты только сегодня об этом догадался? — спросил Борис.

— Утром я решил вывести деда на чистую воду... И все выяснилось. Я хотел с ним раньше поговорить, но Иван отговорил меня.

— Ах, вот как! — закричал Иван. Он был просто как бешеный. — Я же еще и виноват! — Он сильно и неожиданно дернул за козырек

фуражки Сократика и натянул ее ему до самого подбородка.

— А ну, поосторожней! — крикнул Борис.

А Сократик даже не стал снимать фуражку, так и стоял в полной темноте, судорожно хлюпая носом, чтобы не заплакать. Он услышал, как Иван выскочил и сильно хлопнул дверью, и только тогда надел нормально фуражку.

— Может быть, ты хочешь остаться один? — спросил Борис и, не дождавшись ответа, вышел.

Потом до Сократика донеслись возмущенные голоса ребят, кто-то там отчаянно завизжал, кто-то свистнул. А кто-то захохотал, и это был, конечно, «остряк» Рябов. Постепенно крики стали удаляться. Сократик вошел в комнату и выпянул осторожно в окно — во дворе уже никого не было.

Сократик сел на старый, брошенный здесь стул и долго-долго сидел. Он слышал, как за стеной закашлял Михаил Николаевич, и ему показалось странным, что кашель его слышен так отчетливо, как будто они сидят в одной комнате. Он задрал голову и увидел в стене небольшую крупную дыру, которая, видно, осталась от электрической проводки или от телефонного кабеля. Потом он услышал, что кто-то позвонил в дверь Михаила Николаевича и тот открыл ее, и раздался голос мужа Верочки. Они там поздоровались, и Михаил Николаевич спросил, как себя чувствует Верочка и когда ее привезут из больницы. А потом он начал вздыхать и охать, что нужно вести себя во время опытов осторожнее. И Сократик догадался, что с этой незнакомой Верочкой случилось какое-то несчастье.

— А куда это вы собрались с чемоданом? — спросил Михаил Николаевич.

Сократик не расслышал ответа.

— Как, уходите? — громко спросил Михаил Николаевич.

— Совсем уйду, Михаил Николаевич. Не могу я. Она редкий человек, талантливый, — говорил муж Верочки. — Очень талантливый. Подвижница... Но мне трудно с ней, трудно. Я не создан для подвигов. Я не могу смотреть на людские страдания. Не могу. И вот уйду. Вот письмо, передайте ей. Не могу, Михаил Николаевич, не могу. У меня даже руки дрожат. Противно так дрожат, и на душе мерзко, я себя презираю. Но если бы вы видели ее лицо, все обожженное, она... она, возможно, останется слепой. Я трус, трус, но

если с одним человеком случилось несчастье, неужели и другой должен погубить свою жизнь? Из-за него мучиться и страдать? Разве это справедливо?

Больше Сократик ничего не слышал, точно там пропали люди — и этот, и Михаил Николаевич. Потом раздались чьи-то торопливые шаги в коридоре. Сократик подбежал к окну и увидел мужчину, который почти бежал по двору. Чемодан у него был большой и тяжелый, и он нес его на плече.

«Значит, Верочка, — подумал Сократик, — во время опыта обожгла себе лицо и, может быть, ослепнет, а ее влюбленный муж решил от нее уйти только потому, что хочет жить весело и легко». И вдруг его так сильно захлестнуло чужое несчастье, что он даже забыл о собственных неудачах.

Дверь в квартиру Михаила Николаевича была открыта настежь.

Сократик вошел в нее и увидел человека, сидящего в кресле, старого, толстого, седого. Сократик вежливо кашлянул, чтобы привлечь его внимание, и тот поднял голову.

— У вас открыта дверь, — сказал Сократик.

— Спасибо, — ответил Михаил Николаевич. — Сейчас закрою.

— Я был в соседней квартире и все слышал, — сказал Сократик. — Если надо, я могу дать свою кожу для пересадки. (Михаил Николаевич посмотрел на него.) И не только я, — добавил Сократик, — весь наш класс согласится.

— А ты кто такой? Ты что, знаешь Верочку Полякову?

— Нет, — сказал Сократик. — Просто я случайно оказался в вашем доме.

— Значит, если я тебя правильно понял, ты хочешь помочь человеку, которого ты никогда в жизни не видел? — Михаил Николаевич пристально посмотрел на этого небольшого, толстогубого, лохматого паренька, и у него неожиданно запело внутри и бешено заиграла труба сигнал боевой тревоги.

Сократик промолчал.

— Не вернулся, — сказал Михаил Николаевич. — Я так и знал, что он не вернется. Такие люди не возвращаются, когда другим плохо. И у него хватает духа оправдывать себя. А я-то, старый дурак, верил в него. Нравились мне его мягкость, обходительность. Он боится страданий. А разве можно уйти от страданий? Человек со дня

рождения обречен на потерю близких, на крушение надежд... Моя матушка, вечная ей память, очень любила меня. И я, сколько себя помню, всегда боялся, что с ней что-нибудь случится, и ненавидел, когда она говорила мне: «Вот умру, тогда все будешь делать по-своему». Как мы можем уйти от страданий за близких и за далеких людей, которые живут в разных уголках земли? Нет, от этого нельзя уйти. Собственно, эти страдания и делают нас людьми. Негодяй, негодяй, негодяй... Я теперь буду говорить по тысяче раз «негодяй», чтобы убить его в себе.

Он начал торопливо одеваться, накинул пиджак, почему-то надел галоши, потом стал торопливо принимать лекарство.

— Этот негодяй думает, что времена Сусаниных миновали. Негодяй...

Они вышли во двор, и Сократу захотелось подтолкнуть Михаила Николаевича, чтобы он быстрее добрался до врача Верочки Поляковой и посоветовался с ним, как быть дальше, а тот тянулся, как черепаха. А Михаилу Николаевичу казалось, что он просто летит. Он задыхался от этой быстрой, непривычной ходьбы, и сердце у него стучало где-то под самым горлом, но все равно спешил, хотя отлично знал, что никакие врачи сейчас не помогут Верочке и он идет к ним для очистки совести и ради этого неизвестного ему паренька, который так верит в людей.

Вот почему он шел так быстро, так невероятно быстро, как, может быть, не ходил ни разу после войны, после того как пошел в ополчение и немецкая пуля пробила ему легкое.

Из-за себя он бы ни за что так не стал торопиться, из-за себя развивать такую гонку. Нет, это он бы не смог.

И ему самому кажется сейчас удивительным и неправдоподобным, что он когда-то мальчишкой был способен сбежать из дому и стать трубачом в Первой Конной. А теперь это все забыли и, в первую очередь, он сам, но где-то все же в нем живет дух трубача-горниста, который вдруг пропевает в нем в самое неожиданное время сигнал тревоги. Он затрубил в нем в начале войны, и сейчас он снова трубит. Ну-ну, старые больные ноги, ну-ну, старая, стертая машина, поработай, погоняй кровь ради людей! Как жалко, что он в спешке забыл дома лекарство. Это уже

легкомысленно. Значит, есть еще порох в пороховницах, если он поступает легкомысленно. Ура, ура, ура! Негодяй, негодяй, негодяй...

Он шел навстречу ветру, шел, загребая старыми ногами, обутыми в старые галоши, размахивая старым портфелем, набитым старыми бумагами, которые он всегда неизвестно зачем таскает за собой.

После того как я «прославился» с этим проклятым кладом, я стал известным человеком в школе. Меня даже на педсовете разбирали, правда заочно. О чем там говорили, не знаю, но по школе пополз слухок, что Юрку Палеолога отправляют к врачу-психиатру. Может быть, я сумасшедший. Ох и остряки!

После этого вся наша школа бегала на меня смотреть, настоящее паломничество. А первоклассники, те на всякий случай обегали меня стороной. И в стенгазете разрисовали, с зеленым платком на шее и с серьгой в ухе. В общем, понятно, на что намекали. Но я не обижаюсь, я не против, смех — дело серьезное.

А в остальном моя жизнь потихоньку стала налаживаться — Эфэф оказался прав. Правда, с Кулаковыми я не помирился и дома у нас было не очень-то хорошо.

Как-то я набрался храбрости и рассказал матери о том, что к нам приходила жена Геннадия Павловича. Думал, она упадет от моих слов в обморок или разревется. Раньше, если ее кто-нибудь обманывал, она закрывалась в ванне и редела, как девчонка. И поэтому я заранее приготовил стакан воды, чтобы в нужный момент подать ей.

Но эту воду мне пришлось выпить самому, потому что в ответ на мои слова она такое преподнесла, что этот стакан воды просто выручил меня... Оказывается, Геннадий Павлович не женат, а женщина, та «певица» из хора Пятницкого его родная сестра, которая приходила, чтобы познакомиться с нами. И еще мать сказала, что она не думала, что я такой эгоист. А я сидел, помалкивал и пил воду. Тут она возмутилась.

— Оставь, — говорит, — стакан, он уже пустой.

Она хотела, чтобы я заговорил, но я налил из графина еще в стакан и снова начал пить.

— Ах так! — решительно сказала она. — Ну, посиди один, тебе есть о чем подумать, — и гордо удалилась.

По-моему, ее просто подменили.

В общем, ничего себе получилась беседа, только с тех пор мы не разговариваем. Раньше она никогда бы не стала молчать, давно бы

простила меня. Точно, ее просто подменили.

Я по-прежнему, как вхожу в класс, поворачиваю глаза влево, влево, на парту Кулаковых. Но сегодня парта оказалась пуста. Сел на свое место и стал ждать звонка. Не то чтобы эти Кулаковы меня интересовали, а так, больше по привычке, хотя если говорить совсем честно, то я скучал без Ивана. И Тошку часто вспоминал, нашу единственную прогулку. Только иногда казалось, что и эта прогулка мне приснилась, вроде клада. Зато теперь у меня дома была ее фотография, правда не такая прекрасная, как у Рябова. Она была маленькая, одна голова.

Фотография эта попала ко мне случайно. Капустин нас всех фотографировал во дворе назаровского дома; ну, а фотография эта никому теперь не была нужна. Вот он мне и отдал: «Бери, говорит, на память, посмотришь через десяток лет, посмеешься». Я и взял. Потом вырезал Тошку, она лучше всех там получилась. А Капустину спасибо сказал и посочувствовал, что ему со мной, как воспитателю, трудно.

Он со мной повозился! Во втором классе я еще не умел переходить улицу, путал, когда налево смотреть, а когда направо. Так он меня почти каждый день до дому провожал. А в пятом классе я стал заикаться, и он со мной песни пел...

В класс вбежала Зинка-телепатка. Подошла, стукнула меня портфелем по спине и сказала: «Приветик». Она вообще, я заметил, при каждом удобном и неудобном случае старается меня стукнуть портфелем, чтобы я помнил о ней. Но я ей все прощаю, потому что она никакая не телепатка. Она все кричала и кричала, что знает, о чем я думаю, а я боялся, что она действительно отгадает мои тайные мысли. Но все было значительно проще. В эти дни, когда я страдал из-за истории с кладом, она, чтобы поддержать меня, все рассказывала. Оказывается, я думаю о ней. Вот тебе и вся телепатия. Я промолчал. Раз она так думает, пусть так и будет.

Потом ввалился красный, вспотевший Рябов и молча сел рядом со мной. После его предательства я хотел пересесть за другую парту, но Эфэф попросил меня этого не делать. Я ему уступил, хотя мы по-прежнему не разговаривали. Вернее, я с ним не разговариваю, а он-то пытался уже несколько раз наладить отношения.

Он поднял глаза, но они смотрели куда-то мимо меня. Я оглянулся.

В класс медленно вплыла Тошка. Она была в ярко-голубой кофточке. Ох, до чего она была красивая, просто страшно, не то что в форме! Я такой красивой еще ни разу не встречал. Пока она плыла к своему месту, все ребята молчали, точно их поразило какое-то непонятное видение. Страшная сила — красота.

Девчонки тут же подскочили к ней и стали рассматривать кофточку. Послышались вздохи и охи.

Но вот девчонки расселись, и Тошка прошла к своей парте, а я забыл о всякой осторожности и смотрел на нее во все глаза.

— Все тайное становится явным. Так, кажется? — сказала Зинка. Она перехватила мой взгляд. — Смотри, свернешь шею. — И закричала: — Ребята, я вчера видела... — Она замолчала и обвела всех взглядом. У нее был такой вид, точно она собиралась всех поразить. — Я вчера видела... — Она выразительно посмотрела в мою сторону, и у меня все похолодело внутри. — А я вчера видела...

Дело в том, что я вчера весь вечер проторчал около дома Кулаковых. Погода была хорошая, я решил погулять, не все ли равно, где гулять. А эта Зинка, хоть и разжалованная телепатка, но глазастая, она даже в темноте видит. Может быть, она меня и засекала.

На всякий случай я встал, опустил руки в карманы брюк — так чувствуешь себя как-то увереннее, потому что есть в запасе спасительное движение. Если вдруг ее слова сразят меня, можно выхватить руки из карманов и сказать: «Ах, ах, ах!» — и помахать руками, понимай как знаешь.

— Ну, кого же ты видела? — спросил я и, совсем как Тошка, начал выстукивать ногой: мол, нам ничего не страшно.

— Я вчера видела... — снова закричала Зинка.

— Ну и орешь, перепонки лопнут, — сказал я. — Говори быстрее, кого видела?

— Нашего уважаемого вожатого, — сказала Зинка.

Я даже обалдел от радости.

— Ну и что? — спросил я. — У него стал короче нос?

— Он был с девушкой. Вот, — сказала Зинка. — Иду. Смотрю, впереди Капустин. Я уже хотела его окликнуть, потом смотрю, что за

чудеса: он ведет под ручку девушку. — Зинка показала, как Капустин вел девушку.

— Капустин?! — засмеялся Рябов. — Ребята, представляете, Капустин!... — Он вскочил и стал прохаживаться по классу, изображая Капустина: ссутулился и стал загребать ногами.

Все ребята засмеялись, и я тоже засмеялся. Смешно Рябов показывал Капустина.

— Ничего смешного, — сказала Тошка и посмотрела на меня.

Честное слово, она посмотрела на меня впервые с тех пор, как я рассказывал небылицы про ее отца.

— Конечно, ничего смешного, — выскочил я.

Иван начал хохотать, прямо давился от смеха, и «остряк» Рябов натуженно хохотал, и другие представители сильного пола тоже начали дрыгать ногами.

— Девочки, эти мальчишки ничего не понимают, — сказала Зинка. — Значит, когда я их увидела, перебежала на противоположную сторону, обогнала, стою жду... Девочки... — Зинка закатила глаза. — Девочки... Она необыкновенная. Туфли — во! Двенадцать сантиметров. Разумеется, шпильки. Чулки черные. Представляете, девочки? Черные-пречерные. А юбка красная, и в складку, в складку...

— Ну и умора, — сказал Иван. — Попугай. «Юбка красная, чулки черные»! — передразнил Иван Зинку.

— Не вижу никакой уморы, — ответила Зинка. — Девочки, а он смотрит на нее, смотрит, совсем близко от меня прошел и не заметил. По-моему, он просто влюбился...

— «Влюбился»! — сказал Иван. — Чтобы Капустин влюбился, никогда не поверю.

— Просто смешно, — подхватил его подпевала Рябов. — В наше время можно придумать что-нибудь поинтереснее.

— Ах, вот как!... — Глаза у Зинки стали узкие-узкие. — В наше время можно придумать что-нибудь поинтереснее... — Она подошла к Ивану. — А мне, например, одна девочка говорила, что снится тебе по ночам. Отчего это?

Кто-то хихикнул, а потом в классе стало тихо-тихо. Все уставились на Ивана.

— Это мне кто-то снится по ночам? — переспросил Иван.

Он встал и медленно, нехотя подошел к Зинке.

Я-то все эти приемчики знаю. Сейчас он спрячет руки в карманы. Ох эти спасительные карманы! И тут же Иван спрятал руки в карманы. Он как-то согнулся и стал ниже ростом.

— Значит, тебе рассказали, что мне кто-то снится по ночам? — сказал Иван.

— Тебе, — ответила Зинка.

— Ах, мне! — почти крикнул Иван.

И тут дверь открылась, и на пороге класса появилась Ленка. Она стояла и размахивала своей сумкой на ремне. А все смотрели на нее.

— Чего это вы все уставились на меня? — спросила она.

— Иван! — крикнул я. Испугался за Ленку и забыл, что я с ним не разговариваю.

Но было уже поздно. Иван подошел к Ленке и громко-громко, на весь класс, так, что было слышно в каждом уголке, сказал:

— Интересно, интересно, — Иван оглянулся и растянул губы в улыбочку, — кто снится мне по ночам, уж не ты ли?

Вот это была тишина. Вот это была сценка.

— Не понимаю, — сказала Ленка. — Что с тобой?

— Она не понимает, — заорал Иван, — она не понимает! — Он орал и размахивал руками.

А мне стало противно на него смотреть, подчистую Ленку предал. Я подошел к нему и сказал:

— Эй, братец-кролик, у нас такое не полагается. Понял?

— А тебе какое дело? — Он стал наступать на меня, он хотел за счет меня выскочить из скандала.

Пускай. Это все же лучше, чем то, что он налетает на Ленку.

— А тебе какое дело? Благородный Дон Жуан...

Он думал, что все захихикают на эти его остроумные слова, но никто его не поддержал. Даже Рябов.

А Ленка повернулась и выскочила из класса.

Весь день я звонил Ленке, хотел позвать ее к Эфэф. Я уже придумал, что расскажу ей, какой Эфэф мировой человек в домашней обстановке, но она упорно не подходила к телефону. Какая-то женщина отвечала, что ее нет дома. Тогда я позвал ее голосом девчонки, а то она, может быть, думает, что ей Иван звонит, и поэтому не подходит. Но она и на голос девчонки не подошла: не желала ни с кем разговаривать.

Кто-то позвонил в дверь. Звонок был необычный, чужой. Я открыл и обалдел. Передо мной в расстегнутом пальто, из-под которого виднелась голубая кофточка, стояла Тошка. Я так испугался, что просто захлопнул дверь, захлопнул и стою как дурак. Но она позвонила еще раз. К этому времени я немного опомнился и открыл дверь.

— Ты не думай, что я с ним заодно, — сказала она.

— А я не думаю, — промямлил я и для чего-то стал болтать дверью, точно снова ее хотел захлопнуть.

— Нет, думаешь. Я вижу по твоим глазам, — сказала она.

— Честное слово, не думаю, — ответил я и так сильно болтнул дверью, что она снова захлопнулась.

От страха, что Тошка убежит, я никак не мог открыть замок. Просто разучился. Наконец я открыл дверь. Тошка стояла в стороне, облокотившись на перила.

— Не думаешь, — сказала она, — а сам закрываешь двери.

— Это... это случайно. Они сами...

— Автоматические, что ли? Конечно, ты думаешь, что я с ним заодно.

Я промолчал.

— Ага, ты сознался, — закричала она, — но я тебе докажу! Я тебе докажу! Одевайся.

Я послушно оделся, и мы побежали. Мы бежали молча, как марафонцы, до самого их дома, проскочили мимо лифтерши, и Тошка открыла своими ключами двери в квартиру.

Потом мы, как были, в пальто, вошли в комнату Ивана. Он сидел за своим письменным столом под фотографиями своего знаменитого отца и что-то там читал. Видно, учил уроки, чтобы получить завтра очередные пятерки. А я думал, что он сейчас где-нибудь вьется около Ленкиного дома. Он повернулся к нам и стал ждать, что будет дальше.

— Так ты считаешь, что поступил правильно? — крикнула Тошка.

Мне стало ясно, что она продолжает прерванный разговор.

— Привела свидетеля? — сказал Иван. — А мне вот не хочется больше с вами разговаривать. — Он повернулся к нам спиной и взял книгу, чтобы продолжить чтение.

И тогда Тошка подскочила к столу, над которым висели фотографии ее отца, схватила одну из них и со всего маха бросила на пол.

— Ты что? — заорал Иван. — Ты что?!

Тошка схватила еще одну фотографию и хотела ее треснуть об пол, но дверь в комнату неожиданно открылась, и вошел сам знаменитый летчик. А его портрет, разбитый вдребезги, валялся на полу.

Сначала я не понял, что это он. В этом человеке я узнал шофера, которого мы вместе с Эфэф встретили на улице. Он еще тогда говорил ему: «Милый мой...» Так вот, оказывается, вместе с кем Эфэф испытывал свои самолеты!

— Он эти фотографии не ради тебя вывешивает, — крикнула Тошка, — а ради себя, он все делает ради себя!...

Кулаков-старший молча посмотрел на меня, и я так же молча вышел из комнаты.

Тошка позвонила мне через час...

Был дождь, и мы ездили на метро. От станции к станции. Ездили, ездили и почти не разговаривали, а потом я рассказал Тошке, чтобы как-то ее отвлечь, про Михаила Николаевича и Верочку Полякову.

— Пойдем к ним, — сказала она. — Может быть, Полякову уже привезли из больницы. Пойдем и спросим: «Вам нужна наша помощь?» А вдруг они скажут, что нужна.

Мы вышли из метро и пошли к этому несчастному дому, хлюпали по лужам, не разбирая дороги, но когда пришли, то оказалось, что дом пуст. Мы побродили по комнатам, заброшенным и неудобным, с оборванными проводами, и у Тошки настроение совсем испортилось. По-моему, она все время думала об Иване.

— Мой дед расстроится, — сказал я, — когда узнает, что этот дом сносят.

— Жалко, что мы теперь никогда не увидим ни твоего Михаила Николаевича, — сказала Тошка, — ни этой Верочки Поляковой.

— Жалко, — ответил я.

Когда мы вышли во двор, Тошка решила позвонить домой. Она вошла в автомат, а я прогуливался рядом, поджидая ее.

В глубине двора гуляла Надя со своим Китом. Я помахал ей рукой: салют, мол, салют собаководам.

— Кит, за мной, — приказала Надя и направилась в мою сторону.

Она подошла ко мне и остановилась.

— Как живешь? — спросил я.

— Ничего, — ответила Надя. — Живу понемногу.

— Дрессируешь Кита?

Кит услышал свое имя и задрал голову. У него были маленькие черные глаза под лохматыми бровями.

— Не особенно, он плохо поддается воспитанию. — По-моему, она о чем-то хотела меня спросить, но не решалась. — А вы кого-нибудь ждете?

— Жду одного товарища, — и покосился на автоматную будку.

Тошка стояла ко мне спиной.

— А вы любите собак? — спросила Надя.

— Люблю, — ответил я.

— А в нашей квартире живет один гражданин, который заявил, что не позволит моему Киту жить у нас, — сказала Надя. — Хотя Кит тихий-тихий. А он говорит, что не выносит собак, потому что они все рано или поздно начинают кусаться. Вот поэтому Кит ходит дома в наморднике.

— Странный гражданин, — сказал я.

— Странный, — охотно согласилась Надя.

— А теперь он заявил, что из-за Кита у нас в квартире пахнет псиной, что у нас не квартира, а псарня, — сказала Надя. — И требует, чтобы я вообще не держала Кита дома. А вы понюхайте, понюхайте. — Надя подняла Кита на руки, чтобы я понюхал и убедился, что ее собака не пахнет псиной. У Кита была мягкая, нежная шерсть. — Ну что, пахнет, вы честно скажите, пахнет?

— Нет, — сказал я. — Совсем не пахнет.

— Вот вы понимаете, — сказала Надя, — а он не понимает. — И вдруг попросила: — Зайдите к нам поговорить с этим гражданином.

В это время Кит увидел кошку и обнаружил дикую сноровку и скорость. Он бешеным клубком полетел за кошкой, и следом за ним, тоже на высшей скорости, полетела его хозяйка.

Тошка вышла из автомата. Она шла, откинув голову, и чему-то улыбалась, — значит, настроение у нее изменилось к лучшему. Она потряхивала своими рыжими волосами и сверкала своей голубой кофточкой.

— А у меня в голове новая песенка: трам-та-там-трам-та-там, — пропела Тошка.

И у меня неизвестно отчего тоже заплясало все внутри от радости, и мне вслед за Тошкой, за ее песенкой захотелось запеть во весь голос.

— Пошли, — сказала Тошка.

Но в это время из ворот, запыхавшись, с Китом на руках, выбежала Надя.

— Мальчик, мальчик! — позвала она меня.

Пришлось остановиться.

— Мальчик, вы уже уходите? — спросила она, посмотрела на Тошку и добавила: — Это и есть ваш товарищ?

— Да, — сказал я.

Надя внимательно оглядела Тошку и сказала:

— Хороший товарищ. Мальчик, а вы не зайдете к нам поговорить с этим гражданином?

— Понимаешь, — сказал я Тошке, — у них в квартире живет гражданин, который требует, чтобы Надя выгнала Кита на улицу. Говорит, что от него пахнет псиной.

— Вы понюхайте, понюхайте, — сказала Надя и подсунула Тошке Кита. — Ну пахнет, вы честно скажите, пахнет?

— Совсем не пахнет, — сказала Тошка.

— Вот именно, — сказала Надя. — А вы не зайдете к нам вдвоем? В конце концов, вы же пионеры.

— Веди, — сказала Тошка. — Мы пойдем сейчас.

— Сейчас? — переспросила Надя.

— Сейчас, — решительно ответила Тошка.

Впереди шли Тошка и Надя с Китом на руках, я замыкал шествие.

— Вы подумайте, он заставляет, этот гражданин, выводить Кита в коридор в наморднике. — Надя на ходу сообщала все новые и новые сведения об этом злом гражданине. — Говорит, что мы сделали из квартиры псарню.

Тошка все набирала скорость, ей просто не терпелось вступить в справедливую борьбу. Честное слово, она была как барабанщица, она била дробь на своем барабане и звала меня в атаку. Она просто желала все время яростно бороться.

Около подъезда Надя остановилась:

— Лучше я постою здесь и подожду вас.

— Нет, — сказала Тошка.

Решительная, отчаянная Тошка, она любила все доводить до конца.

— Конечно, нет, — сказал я. Хотя я-то совсем не был таким решительным.

— А может быть, вы придете вечером, когда будут дома мои родители? — спросила Надя.

— Мы пойдем сейчас же и выведем его на чистую воду, — сказала Тошка.

— Как зовут этого жестокого гражданина? — спросил я с улыбкой.

— Семен Николаевич Грибоедов, — серьезно ответила Надя.

— Почти великий русский писатель, — сказал я.

Мы взобрались на шестой этаж. Лифт не работал, и это сильно охладило наш пыл. Каждый из нас в отдельности, может быть, готов был спасовать, а вместе — ни за что!

— Надо же, — тихо сказала Надя. — Возненавидеть собаку из породы скочтерьеров.

Надя открыла своим ключом и подвела нас к двери Грибоедова. У нее мелко-мелко тряслись руки. Совсем перепугалась девчонка.

— Перестань дрожать, — сказала Тошка. Она храбро постучала в дверь.

Дверь тут же распахнулась, и перед нами появился здоровенный мужчина, одетый в пижаму. Он что-то ел, смотрел на нас и нахально чавкал.

— Ну, в чем дело?

— Мы хотим узнать, почему вы возражаете против этой собаки? — спросила Тошка. — Псиной от нее не пахнет, можете понюхать.

— Нюхать я не буду, — сказал Грибоедов. — А вы-то кто такие, что за эту кильку защищаетесь?

— Не килька, — сказала Надя. — А Кит.

— Мы пионеры, — сказал я. — Из соседней школы.

— Ну и ходите в свою школу, а в чужие дела нос не суйте. — Он спокойно закрыл дверь, прямо перед нашими воинственными носами.

Тошка рванула дверь на себя.

— Мы представители общественности! — крикнула она. — Вы должны...

— Я никому ничего не должен.

Он уже сидел за столом, и перед ним на тарелке лежал здоровенный кусок колбасы. Он отрезал от куска небольшие кусочки и отправлял в рот.

— Вы кого учите жить? Меня, Грибоедова? — Он сказал это так, точно он и есть тот самый великий русский писатель, который написал «Горе от ума».

— В конце концов, собака друг человека, — сказал я.

— Ваш, но не мой, — ответил Грибоедов. — Я ненавижу собак.

Да, препротивный мужичок, и как-то унизительно перед ним стоять. С такими сразу надо просто драться, а слов они не понимают, это точно. Ну как его прошибить?

— Это породистая собака из породы скочтерьеров, — сказала Надя.

— Закройте дверь, пионеры, — сказал он, — и катитесь ко всем чертям!

— Наконец, это просто возмутительно, — сказала Тошка. — Почему вы с нами так разговариваете?

Грибоедов встал, вытянул вперед свои ручищи — просто не руки у него, а грабли — и стал нас подталкивать:

— А ну, пошли отсюда, пошли, поиграли немного в свою игру и валяйте отсюда.

— Не трогайте меня руками! — крикнула Тошка.

— Ах ты какая недотрога! — закричал Грибоедов. — А по мягкому месту не хочешь схлопотать? — Он поднял руку.

— Тогда вы будете иметь дело со мной, — сказал я.

Меня просто трясло всего от возмущения, я готов был броситься на него, я готов был подраться с ним. Лез на него, напирал грудью. Мне хотелось, чтобы он меня ударил, а тогда мы посмотрим, кто кого.

И тут он меня схватил, крепко сжал своими ручищами, приподнял и понес. Донес до дверей, открыл дверь и вытолкнул на лестничную площадку. Следом за мной вылетели Тошка и Надя со своим скочтерьером на руках.

Мы медленно стали спускаться вниз. Кит несколько раз жалобно тявкнул.

— Вы меня простите, — сказала Надя.

— Что там, — махнул я рукой.

Я боялся посмотреть Тошке в глаза. Может быть, теперь, после такого унижения, она начнет меня снова презирать...

— Мы этого так не оставим, — сказала Тошка. — Найдутся люди, которых ему не удастся так легко поднять.

— Лучше бы у меня была овчарка или волкодав, — сказала Надя. — Тогда он бы боялся.

Мы вышли на улицу. Грустно постояли в кружочке: между нами, задрав голову, сидел виновник происшествия.

— Все понимает, — сказала Надя.

— Мы этого так не оставим, — повторила Тошка.

Удивительно, как один человек, просто подлец, и фамилия-то у него славная, может начисто испортить настроение нескольким людям. А эти люди не могут ничего сделать для восстановления самой обыкновенной справедливости. А эта девчоночка Надя, совсем букашка, по-моему, просто боится возвращаться домой и наверняка будет околачиваться во дворе до самого вечера, пока не вернутся с работы ее родители. Разве нельзя дать объявление в газете или по радио, что вот то-то и то-то делать просто подло. Каждый человек, просыпаясь утром, читал бы об этом.

— Пожалуйста, не расстраивайся, — сказала Тошка. — Я уверена, ты в тысячу раз храбрее его и в миллион раз благороднее.

— Не успокаивай меня, — сказал я. — Надо было укусить его или подставить ему ножку. Знаешь, как я умею подставлять ножку. И представляешь, он бы вытянулся во всю длину и своей противной мордой стукнулся об пол.

Сам не свой я был, говорил не думая. Думал совсем про другое. Почему-то вспомнил строчки из последнего письма отца, которое он мне прислал из госпиталя. Он там писал о матери: «Всегда помни о ней и старайся ее понять».

Я подумал, что не выполнил этой просьбы. Она-то меня понимала, а я ее нет. Я все время думал только о себе, но не о матери и тем более не о Геннадии Павловиче. И я понял, что она была права, когда сказала мне: «Отец не хотел бы видеть тебя таким».

— Ты думаешь, Иван совсем пропащий человек? — спросила Тошка.

— Нет, — ответил я. — Так я не думаю.

А потом я подумал о неизвестной мне Верочке Поляковой, и о Ленке, и о Наде, и почему-то о братьях Рябовых, и о всех тех людях, которые были незаслуженно обижены и никто к ним вовремя не пришел на помощь. Только разве никто? Разве мы не готовы им помочь?

Вот Эфэф говорил мне, что мы еще в бою, мы еще солдаты. И этот бой будет длинным, но он нас сделает чистыми и прекрасными. И Эфэф солдат, он не отступит никогда. И Тошка солдат, она ведь барабанщица, и я тоже буду солдатом.

Дед говорил, что я не судья матери. А кто же я ей, если не судья? Все люди судьи друг другу, и я судья своей матери, только я должен быть справедливым и великодушным. И она мне судья. И ему, деду, я тоже судья.

— Что теперь делать? — спросила Надя.

— Не волнуйся, — сказал я. — Ничего он тебе не сделает, этот Грибоедов. Его мы одолеем. Останется у тебя собака.

И пусть у каждого, кто захочет, будет собака.

И пусть поскорее наступит такой день, когда мы будем счастливы и когда с полуслова будем понимать друг друга и по первому зову приходить на помощь. Вот это и будет счастливый день.

А пока мы стояли и думали обо всех наших бедах. Нет, мы не плакали, ведь мы были солдаты, и даже маленькая девочка Надя не плакала. Но и весело нам еще не было.